ВЧЕРА СЕГОДНЯ ЗАВТРА | 3

Сергей Рафальский

ЧТО БЫЛО И ЧЕГО НЕ БЫЛО

OPI

ЧТО БЫЛО И ЧЕГО НЕ БЫЛО

Sergei Rafalsky

WHAT WAS AND WHAT WAS NOT

MEMOIRS

with an introduction
by Boris Filipoff

Overseas Publications Interchange Ltd

Сергей Рафальский

ЧТО БЫЛО
И ЧЕГО НЕ БЫЛО

ВМЕСТО ВОСПОМИНАНИЙ

вступительная статья
Бориса Филиппова

Overseas Publications Interchange Ltd

Sergei Rafalsky: CHTO BYLO I CHEGO NE BYLO

First published in Russian in 1984
by Overseas Publications Interchange Ltd
8 Queen Anne's Gardens, London W 4 1TU

ISBN 0-903868-95-4

Cover design by M. A. Pióro

Printed in West Germany

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Вы видите „Дом Мистерий", его фрески, вы ходите по улицам и площадям Помпейским, – но можете ли вы по этим останкам на редкость хорошо сохраненного нам извержением Везувия города воссоздать кипевшую в нем когда-то жизнь? Конечно, нет, – говорит нам автор этой книги. Вы читаете исторические статьи и книги о первых годах революции и советской власти, написанные в СССР и за его рубежами. В этих книгах даты, статистико-экономические выкладки и таблицы, цитаты из тогдашней повременной печати и „голые факты" (как будто бывают „голые факты", не одетые в костюмы, соответствующие взглядам и настроениям автора!)... Но жизнь, живую жизнь не ищите в этих книгах, даже и в том случае, если они написаны и не в СССР, и не „прогрессивными" историками. А статистика – она, помимо всего прочего, может быть прочитана совсем по-разному. Недаром в СССР бытует пословица: есть ложь грубая, есть ложь тонкая, а есть и статистика... Вы, наконец, читаете воспоминания о той эпохе, какую описывает в этой книге ее автор, Сергей Милиевич Рафальский (1895-1981). Мемуары А. Ф. Керенского – и Л. Д. Троцкого, П. Н. Милюкова – и Суханова, ген. А. И. Деникина – и, скажем, графа Игнатьева... Но все эти деятели тех лет, вольно или невольно, сознательно или бессознательно, но стремятся в первую очередь оправдаться „перед лицом истории", да при этом еще и мало были причастны к той непосредственной, рядовой, именуемой ими „обывательской", – жизни, какая и есть жизнь народа, жизнь страны, жизнь эпохи. Из книг этих, из этих воспоминаний вы не почувствуете никак того самого существенного, самого главного, что называется, очень неточно, атмосферой эпохи. Вы ее не увидите, а потому – и до конца не поймете.

Но вот воспоминания не вождя, не „деятеля", не партийного вожака, а просто современника той или иной эпохи – они неизмеримо больше дают для понимания самого воздуха времени, „шума времени" (по словам О. Мандельштама), „музыки эпохи" (выражение А. Блока). В них мы чувствуем сам пульс эпохи, саму ее живую жизнь. Видим, как эпоха переживалась ее рядовыми, пусть и не вы-

деляющимися дарованиями, современниками. А ведь в этом-то и сама суть жизни, суть истории, ни в какие даты и статистику не укладывающейся, никакими схемами не объясняемой.

Этот-то вот неповторимый воздух эпохи, все пронизывающий — от столиц до „глубинки", и передают нам ярко и выпукло картины, нарисованные умелой рукой С. М. Рафальского.

Многие — и с многообразными оттенками восхищения или отталкивания — рассказывают о первых месяцах (особенно же — первых неделях) Февральской революции. Рассказывают задним числом — и с очень искаженным десятками последующих лет освещением. Отрешиться ведь от оценки, даже в простом описании, — оценки, порожденной опытом последующих трагических лет, почти совершенно невозможно. Но у С. М. Рафальского очень верно, очень ярко дано это почти физическое ощущение не свободы, в западноевропейском ее понимании, а той русской вольной волюшки, слегка — анархической, никак не социально-правовой, какой дышала тогда Россия — от Великого князя Кирилла Владимировича, выведшего матросов с алыми знаменами к Государственной Думе, — до последнего уличного мальчишки-газетчика... Никакие сухие рассуждения о неподготовленности русской интеллигенции к конструктивному государственному строительству не дадут нам лучшего об этом представления, чем небольшие сцены в книге С. М. Рафальского. Возьмем хотя бы рассказ о приведенном в революционную милицию мелком воришке и уговаривающем его, вора, комиссаре из адвокатов, что, мол-де, воровство при старом, ныне павшем царском эксплуататорском режиме — это одно, а воровство при революционном, народном строе — это совсем другое: „две большие разницы", как говорят в Одессе... А обывательская осмысливающая ходовые термины филология: так, монархические зубры осмысливаются иначе: „В чемодане Штюрмера нашли фальшивые зубы — это зубы старого режима"... Ну, чем это не более ярко, чем бытовавшая на городских окраинах и в деревнях начала двадцатых годов осмысливающая перелицовка слова милиционер в лицемера, — без всякого при этом сознательного понимания бессознательного глубокого понимания самой сути советской милиции.

И не столько Петроград „великого-бескровного" Февраля, не столько Киев первых месяцев „пролетарского" Октября и гетманской оперетки, сколько глухой — в 12 верстах от железнодорожной станции — волынский городок в те судьбоносные для мира годы — место пристальных и вдумчивых наблюдений Рафальского. Городок, так часто переходящий от императорской власти к безвластию розовых дней „великой бескровной", чтобы затем смениться новыми волнами наплывающих и уплывающих, часто весьма бесславно, властей: гетман с сокрушительно-пророческой фамилией СкороПАДСКИЙ, чубатые петлюровцы, первые красноармейцы-всявласть-

советники, опять петлюровцы с тарасобульбовскими чубами, опять советские грабительские отряды погромщиков, почище петлюровцев (городок-то на две трети еврейский), разузоренные по всем швам своих кавалерийских униформ поляки, немецкие ландштурмовые части, опять советчики, опять немцы – уже Третьего Райха, и снова окончательные большевики... И, часто невзирая на все эти смены, дремуче-старый – по крайней мере, в „те баснословные года", – быт населения... Нововведения, как ни были бы они кровавыми, тогда еще не затрагивали глубинных пластов сознания...

Нужно быть хорошим художником-прозаиком, чтобы написать во весь рост увешенного всеми мыслимыми и немыслимыми видами оружия и награбленных часов – от золотых и до черненых стальных – красноармейца, полубандита из солдат последних призывов войны, а в общем – достаточно добродушного веснущатого парнюгу, уговаривающего автора книги: Да ты нас не боись – мы русские... Вот придут другие... Но попутно снявшего с вешалки зимнюю рясу отца С. М. Рафальского: – Знатная бурка выйдет... Сколько пишущий эти строки встречал на Северном Кавказе в Гражданскую войну таких героев „железного потока" рабоче-крестьянского воинства...

И нужно быть поэтом, чтобы передать все очарование навсегда ушедшей старосветской жизни маленького городка с мирным сосуществованием десяти тысяч евреев и пяти тысяч украинцев и русских, поляков и обрусевших немцев... Дружно соседствующие „космические" (по удачному выражению автора) языческие сельскохозяйственные праздники, плотно соединившиеся с христианскими Святками и Троицами, Николами и Пасхами; засыпанные чуть ли не до крыш одноэтажные домишки под иссиня-черным небом с яркими рождественскими звездами; картежные вакханалии в местном клубе; любительские спектакли с аккомпанементом юных романов... И единственный на всю городскую окраину страж порядка – геркулес-городовой, на всю окраину храпящий от зари и до темноты, а ночами в той же дощатой будке весьма активно донжуанствующий, – не дающий спуску ни одной молоденькой горничной городка...

Сергей Милиевич Рафальский иной раз нет-нет да и дает в этой книге социологические наблюдения, политические соображения, но Рафальский-художник постоянно побеждает Рафальского-публициста – и рисует жизнь тех лет – с неповторимой ее пестротой и однотонностью, радостями и трагедиями, красотой и убогостью; рисует ярко, художественно, в е р н о. Пишущий эти строки, правда, лет на девять моложе автора, но хорошо помнит описываемую им эпоху, и помнит именно так, как пишет о ней С. М. Рафальский. Картины, им рисуемые, тем более реальны, что в них весьма мало автобиографи-

ческих элементов: автор стремится говорить не о себе, а о непосредственно наблюденном.

Книга С. М. Рафальского — большой вклад в мемуарную литературу нашего времени. А поскольку книга написана ярко и талантливо, она читается не только с пользой, но и с большим интересом.

Вот жизни длинная минея,
Воспоминаний палимпсест...

Борис Филиппов

I.

От крымской эвакуации и Константинополя и до сих пор эмиграция не переставала говорить и спорить об ответственности за революцию. Хотя – говоря по совести – всегда и везде, и при всех обстоятельствах за революцию ответственна допустившая ее власть. Но поскольку за рубеж выехали близкие родственники допустивших, – всю вину они поспешили переложить на самое яркое явление дореволюционной российской жизни – интеллигенцию. Она-де подготовила революцию...

И нужды нет, что Российская империя не была в мировой истории исключением: у всех более или менее цивилизованных народов водились милостивые государи, подготовлявшие революцию, но не у всех она происходила, просто потому, что подготовить ее так же невозможно, как по желанию вызвать грозу или извержение вулкана.

Если бы было иначе – уже давным давно в Советском Союзе не было бы комдиктатуры. Ведь даже на выборах в Учредительное Собрание, то есть когда она, еще блистая всеми румянами и белилами впервые явленной и нигде в мире не испробованной теории, обещала „народу-жениху", не стесняясь ничем, всевозможные блаженства земного рая – коммунистическая партия собрала всего одну треть голосов. И эта „треть" почти сразу же стала сокращаться за счет старых (т. е. профессиональных) рабочих, левых эсеров (Московское восстание), своей „красы и гордости" – матросов (Кронштадтское восстание) и бесчисленного количества крестьянских и просто народных восстаний. (Не говоря уже о Белом Движении, предположим „генеральском", хотя одному Богу известно, где было больше штабных и кадровых офицеров: у Деникина или у Троцкого.)

Если бы подготовка революции удавалась безотносительно к обстоятельствам, – эмиграция давно бы сидела в Кремле: средства, растраченные ею на стимуляцию „падения большевиков" – это Ниагара по сравнению с жалким ручейком, который будто бы лила на мельницу революции российская интеллигенция... Даже если взять советское правозащитное или диссидентское движение: при всей его количественной незначительности – оно в процентном отношении к населению едва ли меньше числа большевиков, „действовавших" в свое время не в парижских или швейцарских кафе, а в российских городах и селах. Диссиденты, вдобавок, интеллектуально

выше и талантливей: все же заметные большевистские персоны (за исключением только впоследствии „замеченного" Иосифа Виссарионовича) в свое время сидели в эмиграции.

В самой Российской империи насквозь интеллигентская партия „Народной Свободы" как раз никогда к революции не призывала. Она была настолько эволюционной, что ее лидер П. Н. Милюков, принимая Министерство иностранных дел после падения старого режима, первым делом заговорил об угрозе революции: „На нас несется вал, который, если мы с ним не справимся, – всех нас сметет..." И это как раз в то время, когда кругом только и кричали об „углублении" революции...

Но самое главное и обычно упускаемое из виду: та российская интеллигенция, которая – пусть только в известной своей части – „подготовляла" революцию, уже как социальный слой, кончалась. Ее расцветом был конец XIX и начало XX вв., а 1905 год – ее лебединая песня.

В народе подымались новые поколения – внуки еще переживавших крепостное право дедов, о нем не помнившие, то есть выросшие как свободные люди, благодаря школе и воинской повинности уже грамотные, осведомленные о жизни не только в родной деревне. Для них „поместные зубры" – еще сохранившие крепостнический дух потомки прежних бар и их обширные земли – были куда возбудительней мифической интеллигентской „подготовки". Они тоже в 1917 году „углубляли революцию", но в Учредительное Собрание провели эсеров, и в результате ленинцы только с помощью „иностранных легионов" справились с ними, так или иначе их – и „золотой биологический народный фонд" вместе с ними – нещадно зверски уничтожая.

С другой стороны, надо помнить, что с 1905 года в Российском государстве настоящая борьба шла не между революцией, чахнувшей в подполье и удерживаемой от окончательной смерти только ничего не понявшими, ничему не научившимися революционерами, а между теми, кто стремился сделать конституцию вполне действенной, настоящей, „как у людей".

С отходом молодежи от увлечения революционной героикой и романтикой – под их чарами оставались самые крайние фланги: интеллигентные социал-демократы, народные социалисты, трудовики примирились бы на данном этапе с настоящей конституционной монархией, если бы – перефразируя известные слова П. Б. Струве – царь прекратил бы ту войну с общественностью, которую он объявил, вступая на трон.

Интеллигентская смена тоже была иной: „дети" не походили на своих „отцов". Они начинали сознательно жить не в „непросвещенном абсолютизме" Александра III, гасившем последние из вспыхнувших в период реформ Александра II надежд, а вышли в жизнь с нас-

тоящей конституцией, пусть даже ущербной, но все же конституцией, в обстановке, неизмеримо более свободной, чем была у „отцов", более свободной даже, чем могут себе представить пореволюционные люди, с детства приученные думать, что до Ленина была только одна сплошная полицейщина, с робкими прорывами потайных первомайских сходок, организованных, конечно, большевиками, кстати, тогда не существовавшими.

Огромная бытовая свобода была возможна потому, что люди еще верили друг другу и стукачество еще не стало гражданской добродетелью и нормализованной повседневностью. О нем, может быть, думали только активные революционеры, которых было как кот наплакал.

В одном из средних классов гимназии товарищ-поляк показывал мне из-под парты открытки, которые, как я понял, раздавал им ксендз, преподающий всем католикам в отдельном зале Закон Божий. На одной был изображен черный российский двуглавый орел, на котором стоял и нещадно когтил и клевал его белый одноглавый орел польский; на другой – лихой польский гусар на великолепном скакуне догонял улепетывающего во всю конскую прыть казака и, замахнувшись саблей, кричал: „Сдавайся, пся крев!"

Не скажу, чтобы это „обозрение" доставило мне особое удовольствие. Однако в голову не пришло ни мне – кому-нибудь другому об этом „сообщить", ни товарищу – что я могу так сделать.

Точно так же, как несколько лет позже, когда я, уже новоиспеченный студент, в только что полученной газете читал сообщение о позорном разгроме в Восточной Пруссии – подчитывавший через мое плечо студент-грузин не удержал взрыва злорадных надежд: „Ну, теперь пойдут глушить!"

Я его совсем не знал. Просто он увидел у меня свежую газету и подошел.

Бытовая свобода, конечно, имела свои пределы. Как правило, это были границы того или иного общественного круга. Интеллигент с интеллигентом был свободнее, чем, например, с крестьянином. Вообще на селе – при всеобщей (и прочной) нелюбви к барам и начальству – уважение к Царю-Хозяину, взявшему на себя всегда греховное бремя власти, в сердцах пожилых крестьян уцелело и после революции.

В городе, естественно, благонамеренными были (вернее – должны были бы быть) всякого порядка чиновники и служащие, но и среди них неблаговидные (антиправительственные) анекдоты находили благосклонные уши. И даже среди военных. Неудивительно, что молодежь критические суждения своих родителей и окружающего их общества часто еще перегибала в неблаговидную сторону.

В гимназии, в выпускном классе, где среди детей помещиков, чиновников, священников и евреев (преимущественно либеральных

профессий и кустарей) был всего один сын зажиточного крестьянина и один рабочего – монархистов оказалось очень мало. Только двое себя неизменно таковыми объявляли: один впоследствии остался в Советском Союзе, хотя мог уйти в Польшу, другой стал петлюровцем. Остальные, готовясь к коронной службе, старались политически не выражаться. Еще меньше было настоящих революционеров: только один не допускал в этом никаких сомнений и, по-видимому, был связан с какой-то подпольной группой.

Большинство, если и интересовалось политикой, то между прочим. Но, поддаваясь общественной инерции, правительство не уважало, и – на дружеских вечеринках с выпивкой – неизменно пело крамольные песни, больше, правда, сатирического или шуточного порядка.

Это поколение выросло не на Добролюбове или Чернышевском. В наибольшем ходу среди тех, кто не придерживался программного чтения, были Ницше, в особенности „Так говорил Заратустра", „Единственный и его собственность" Штирнера, „Восстание ангелов" Анатоля Франса, Джек Лондон вообще и, в частности, „Клондайкские рассказы" и, конечно, декадентская поэзия („Я славлю восторженно Христа и Антихриста, Голубку и ястреба, порывность и сон"). Смутные ощущения конца эпохи вызревали в этом поколении, ставшем на порог Высшей Школы в последний мирный год Российской империи.

Наш абитурьентский вечер был в июне, а в конце июля началась Первая мировая война.

На свой – еще вполне мирный – праздник мы пригласили, как водится, всех преподавателей, кроме математика, которому из-за его недоброжелательной придирчивости объявили бойкот. Из солидарности никто из преподавателей не пришел, за исключением молодого историка, который держал себя со старшеклассниками почти на равной ноге и даже волочился вместе с нами за хорошенькими евреечками, которых в городе было перепроизводство (10 000 евреев и 5 000 христиан) и которые, обучаясь в частной гимназии, находились под меньшим надзором, чем правительственные гимназистки.

После бала в гражданском клубе, на рассвете, начался товарищеский ужин с гостями, старыми студентами, и, когда пришло время тостов, поднялся с бокалом шампанского „вечный студент", городская знаменитость, фамильярно прозываемый „Сашкой". О нем рассказывали, что собственный его отец, местный исправник, возмущенный крамольными речами сына, собственноручно посадил его в тюрьму. После этого все пошло вверх дном: Иов Матвеевич (исправник) в клубе, играя, как сапожник, приводил в бешенство обычных партнеров по преферансу, дома лютовал и тиранил жену и прислугу, а городовых издергал до того, что они отправили делегацию к сыну. Стоя под окном тюрьмы, послы жалобными голосами ныли: „Паны-

чу! Помиритесь с папенькой! Помиритесь!" А сын, он же Сашка, пухлыми барскими руками потрясая решетку тюремного окна, ревел: „Прочь от меня, наместники тирана!" (Разумеется, он имел в виду не своего отца.)

Но все в мире проходит, и в семью хранителя порядка снизошел покой. И вот Сашка с бокалом шампанского убеждал нас, „зеленых", быть чем кому угодно (то есть кадетами, эсдеками, эсерами), но только не „академистами" (это была горсть подчеркнуто монархических „белоподкладочников", срывавших студенческие демонстрации под предлогом, что дело студентов учеба, а не политика).

Ужин кончился, когда кухарки уже шли на базар, но все застывали возле клуба, глядя, как молодые студенты взбираются по лестницам на растущие вдоль тротуара деревья, а клубные лакеи подают им туда кофе с ликерами... А когда начался „разъезд", сын местного Ротшильда, Гриша Френкель, поехал домой на пяти извозчиках: на сиденье первого лежала новенькая студенческая фуражка, второй вез пиджак, третий – жилет, четвертый – туфли, а на пятом ехал сам Гриша (весивший безумное количество кило, но отлично танцевавший мазурку, кстати).

В то время молодежь, не разбивая витрин и не пачкая стен, умела дурачиться безобидно и весело.

В том же городе в 1905 году, когда происходила демонстрация, исправник (Иов Матвеевич) счел нужным для порядка идти впереди шествия. И от этого у манифестантов, в большинстве из местных евреев, сразу сработал долголетний рефлекс, и они стали кричать новый лозунг: „Долой самодержавие, а вы, Иов Матвеевич , оставайтесь с нами!".

Удивительные годы! Даже не верится, что они действительно были. Недаром одна маркиза во времена Реставрации во Франции любила говорить, что тот, кто не жил при старом режиме, не знает настоящей сладости жизни...

Но – „ходит птичка весело по тропинке бедствий..."

За горизонтом уже назревали эпохальные грозы и бури.

II.

Двадцатый век приходит к концу, сквозь чад и дым мировых и – не счесть! – провинциальных войн, сквозь кровавый вихрь „величайшей из революций", уже только смутно видится в прошлом многое, не занесенное в анналы большой истории, но тем не менее, очень важное и стоющее хотя бы для вентиляции мозгов новых поколений.

К сожалению, года берут свое: „Не много лиц мне память сохранила, не много слов доходит до меня..."

И тем не менее: когда прочел в напечатанном в одном из лучших зарубежных журналов отрывке из большой вещи самого большого из живых российских писателей, что „...русская интеллигенция, не жалея мужицкой крови, толкала императора Николая II на мировую (первую) войну" – как будто споткнулся о протянутую в темном коридоре веревку.

Досадно и горько, что провозглашенный „совестью народной" писатель мог так сказать о том, чего глаза его не видели!

За исключением Ленина (о нем довелось узнать только много позже: до революции он никому, кроме „узких специалистов" и Охранки не был известен), действительно войны желавшего (безо всякой оглядки не только на крестьянскую, но даже и на драгоценную пролетарскую кровь), то ли из-за получаемой – через Парвуса – субсидии от немецкого министерства иностранных дел, то ли из-за уверенности, что императорская Россия потерпит поражение и в стране начнется долгожданная революция – ни эсеры, ни эсдеки, ни кадеты, ни октябристы не толкали на войну никого, а тем более Николая II, относившегося к ним всем столь же „неприязненно", как и Ленин, кстати. (Только хорошо воспитанный и мало знакомый с заборным лексиконом Царь выбирал для выражения своих чувств вполне печатную словесность.)

Так что в записях памяти не отмечается никаких кровожадных призывов ни со стороны левых, ни даже со стороны правых, любивших порой, что греха таить, спеть с подъемом: „Гей, славяне!" и вспомнить о тевтонском „Дранг нас остен".

Все чувствовали, что, хотя наша армия после Дальневосточной катастрофы отошла, освежилась, подтянулась, лучше вооружена и боеспособна, – немцы более серьезный враг, чем (как писала о японцах в 1903 году шапкозакидательная пресса) – „косоглазые мака-

ки"; и кроме того, внутренний мир в стране был все еще неустойчив, условен и в самом ближайшем будущем может поставить на очередь те же проблемы, что и в недалеком прошлом.

Но уважаемый редактор выходящего в Брюсселе во всех отношениях достойного „Часового" В. В. Орехов добросовестно заблуждается, когда пишет, что война 1914 года грянула неожиданно: за шесть месяцев до Сараевских событий Николаю II была подана „докладная записка", разбирающая причины, ход и последствия неизбежной мировой войны с такой точностью и тонкостью, как будто ее автор, бывший министр внутренних дел в кабинете С. Ю. Витте, Петр Николаевич Дурново, долго изучал их по архивам всех столкнувшихся сторон.

„Центральным фактором переживаемого нами периода, – пишет П. Н. Дурново в феврале 1914 года, – является соперничество Англии и Германии", соперничество на морях, в международной торговле, в промышленности – неминуемо ведущее к вооруженной борьбе между ними, которая – из-за островного положения Англии – ни для одной, ни для другой стороны не может окончиться решающе без участия сильных континентальных государств. И убеждая Царя не вмешиваться в это чужое для России дело, П. Н. Дурново с богатыми подробностями показывает, что от сближения с Англией Россия только проиграла – в Тибете, в Персии, на Балканском полуострове. Затем с большой точностью распределяет державы по обеим сторонам баррикады в будущей войне, отдельно называя колеблющихся и неуверенных, и особенно напирает на нежелательность войны России с Германией, войны, „ведущей к ослаблению монархического начала".

„По моему глубокому убеждению, – пишет он, – основанному на изучении всех современных государственных течений, в побежденной стране неминуемо разразится социальная революция, которая силой вещей перебросится и в страну победительницу... Особенно благоприятную почву для социальных потрясений представляет Россия, где народные массы несомненно исповедуют принципы бессознательного социализма. Несмотря на оппозиционность русского общества, столь же бессознательную, как и социализм широких слоев населения, – политическая революция у нас невозможна, и всякое революционное движение выродится в социалистическое... У нашей оппозиции нет поддержки в народе, не видящем никакой разницы между правительственным чиновником и интеллигентом. Русский простолюдин, крестьянин и рабочий, одинаково не ищет политических прав, ему не нужных и непонятных. Крестьянин мечтает о даровом наделении его землей, рабочий – о передаче ему всего капитала и прибылей фабриканта. И дальше этого их вожделения не идут. Русская оппозиция сплошь интеллигентна и в этом ее слабость... Крестьянин скорее поверит безземельному казенному чиновнику, чем помещику-октяб-

ристу, заседающему в Думе, рабочий с большим доверием отнесется к живущему на жаловании фабричному инспектору, чем к фабриканту-законодателю, хотя бы тот исповедывал все принципы кадетской партии... В случае неудачи, возможность которой в борьбе с таким противником, как Германия, нельзя не предвидеть, – социальная революция в самом крайнем ее проявлении у нас – неизбежна...

Начнется с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях поднимется яростная кампания против него, как результат, в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои населения – сначала черный передел, а засим и общий раздел всех ценностей и имуществ. Побежденная армия, лишившаяся, к тому же, за время войны наиболее надежного кадрового состава, охваченная большей частью стихийным крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы служить оплотом для законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные действительного авторитета в глазах народа оппозиционные интеллигентские партии будут не в силах сдержать расходившиеся волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению..."

И через шесть месяцев после того, как в этом любопытном документе была поставлена последняя точка, – все написанное стало осуществляться так, как будто историей управлял компьютер, запрограммированный по „Записке П. Н. Дурново"... Прочтя эти строки, сторонник парапсихологических установок снисходительно улыбнется: возможность „видеть будущее" всегда учитывалась его ведомством.

Человек более скептический (или саркастический) заметит, что самое главное, то есть то, что оказалось для рационалистических расчетов неожиданным – так и не угадано: революцию начали Великие Князья и раньше армии разложились генералы.

А всех более уравновешенный, но не лишенный воображения свидетель событий подумает, что история вовсе не „пьяная баба" которую мотает куда попало, но что у нее есть свои, не экономикой обоснованные, а обосновывающие, между прочим, и ее, „космические" законы, по которым в каждом эпохальном цикле бывают свой Рим и свой Карфаген, причем вовсе необязательно – как думал П. Н. Дурново – чтобы в их борьбе поражение для побежденного было смертельным: на наших глазах германский „Карфаген" поднялся из своих руин и стал богаче и социально прочней победившего его „Рима", который из планетарной империи превратился почти в заштатное – хоть и на очень большом, но всего лишь острове – государство.

История ускорила ритм и, благодаря расселению человечества, пустила в ход те же долженствования и на других материках. И вот

средиземноморский бассейн подменился Атлантическим океаном, на западном берегу которого оказался Новый Рим, а на восточном — старая Европа стала закатной Элладой... А Скифия — как была во времена цезарей, так и осталась теперь истоком, не только по Европе, но уже по всему миру перекатывающихся варварских волн.

Разумеется, все это домыслы „задним числом: летом 1914 года они на улице не валялись, хотя и были люди (например, профессор Сикорский), поговаривавшие о „Новом средневековье".

В литературном кружке, в котором имел удовольствие участвовать эти соображения излагающий, помимо манерного флирта в духе пьес Оскара Уальда с декадентствующими девушками, — читались стихи собственных „садов и огородов"; запомнились строчки из „Кредо" некоего уездного эстета:

„Мы последние, сильные, в светлом нашем бессильи,
Мы — аскеты, уставшие от цветочных вериг..."

И действительно, эпоха героизма, который проявляется даже в слабости, кончалась, и наступала эпоха Зверя, жестоко-беспощадного, признающего только Силу.

Жизнь не посчиталась с эстетической истомой провинциального Петрония и, вместо цветочных вериг, возложила на него ременную „сбрую" полевого снаряжения прапорщика.

Но это было несколько позже: в конце лета 1914 года в призыве студентов еще не было надобности, но в патриотическом порыве многие пошли на войну добровольцами. Потому что патриотический подъем действительно был и не только в столице, где хронически крамольная молодежь с пением „Боже Царя храни" стояла на коленях на Дворцовой площади. Вместе с тем были и националистические эксцессы. Печать известного рода стала звать немцев „тевтонами", требовала снятия с репертуаров немецких опер и пьес, и т. п.

В нашем маленьком городке патриотический подъем должна была выразить довольно квелая манифестация с трехцветными флагами и царскими портретами. Она собрала больше зрителей на тротуарах, чем участников на мостовой. Организовал ее только что испеченный студент, будущий „академист", достойный потомок кондового чиновничьего рода, всегда и при всех обстоятельствах проявлявший верноподданность и благочестие. В гимназии он прислуживал в гимназической церкви, что, кстати, никак не мешало ему почти каждую субботу после всенощной искать „напарников" для секретной выпивки с обязательным визитом к „тете Ревекке", содержавшей „пансион" для не слишком украшенных добродетелью, на все согласных „девочек".

Может быть, несколько специфическая фигура этого молодого националиста, а может быть, и то, что из 10 000 евреев, 5 000 россиян

(в огромном большинстве – малороссов) и сотни поляков трудно было выжать больший энтузиазм, но подобные манифестации больше не повторялись.

Кстати сказать – национализм в то время еще не был болезнью века, и страдали им, кроме тех, у кого действительно отняли исторически стойкую государственную самостоятельность, – только вообще подверженные ксенофобии во всех ее видах. У большинства образованных людей имперская общность закрыла национальность. Это в особенности относилось к малороссам, белорусам и калмыкам...

Из всех народностей, быть может, больше всех имевших основания желать нам всех чертей в бок, – поляки – во время войны были весьма корректны и в армии среди офицеров (где их было немало и часто в высоких чинах) считались храбрыми и верными товарищами, и не могли пожаловаться на отношение к себе других. Так что в войсках уже восстановленной Польши, столкнувшись с офицерами бывшей австрийской службы, в особенности – „пилсудчиками" – многие из них добрым словом поминали потом российскую армию...

Не слишком энтузиастно поддерживавшие показной патриотический порыв молодого „академиста" обыватели по-настоящему тепло встретили и проводили спешно вызванные из летних лагерей пехотный полк и артиллерийский дивизион, всегда стоявшие в городе.

Было тихое, плохо выспавшееся утро, когда в новом, прямо со складов, „защитном" обмундировании, со всей походной „экипировкой", походным порядком они уходили на фронт – граница была не Бог весть где...

И среди тех, что собрались их провожать, махали им вслед руками, платками, бросали цветы или просто смотрели с сочувствием и глухой тоской, представляя, как поредеют вскоре их мерно проплывающие мимо, ощетиненные штыками ряды – были и те, кому впоследствии довелось увидеть и вступавший в город ландсштурм, солидной внешностью пожилых рядовых напоминающий переодетых в непривычную униформу лавочников; и германскую „варту"; и декоративно-чубатых, разноцветных „запорожцев" Петлюры, похожих на разбежавшихся статистов прогоревшего оперного малорусского театра; и большевиков, без погон и чинов, одетых кто во что горазд, вернее – кто с кого что снял – даже в галифе из пестрого плюша, содранного с буржуазных диванов; и польских улан, после предыдущего маскарада преувеличенно „настоящих", с потрясающими лампасами, выпушками, галунами и в конфедератках; и снова большевиков, и снова улан; и после антракта почти в десять лет, советских, еще без чинов и орденов, но уже в форме, и снова немцев, уже значительно менее бюргерского вида,

с руническими знаками и мертвыми головами на шлемах; и снова советских, но уже с чинами и орденами, и „насовсем"...

Но „родной" российский полк больше не пришел в свой город...

Страница истории перевернулась навсегда...

III.

В те годы, о которых будет идти речь, – перед молодым человеком, получившим наконец возможность без всяких неприятностей для себя, в яркий летний день пройтись по обсаженной акациями главной улице родного городка в заимствованном (пока портной поспевает с формой) у отца чесучевом пиджаке, с толстой (почему-то непременно сучковатой) палкой, с папиросой во рту и с новенькой, но уже старательно измятой (чтоб было солидней) студенческой фуражкой на голове, – никаких угнетающих современную западную молодежь проблем не вставало. Все высшие школы, которые ему предлагались, обеспечивали окончившему безбедную (материально) жизнь вплоть до могильной плиты из черно-серого гранита с золотой надписью и чугунной решеткой вокруг.

А если отметки в аттестате зрелости не обещали лестного приема в специальных институтах (политехническом, лесном, путей сообщения, гражданских инженеров, горном, морском, инженерном), – оставался университет с факультетами медицинским, математическим, историко-филологическим и – на худой конец – юридическим.

Тогда даже не снилось никому, чтобы окончивший высшую школу мог остаться без места, т. е. без работы. За исключением, впрочем, „добровольцев". Таких было немного, но они были.

Как только кончились стихийные безобразия марта, подсыхали дороги и зеленели деревья – по нашему уезду начинал пешеходные прогулки (а если случалось – подъезжал с попутчиком) довольно странный на современный взгляд человек. Прилично одетый – в летнюю жару в чесуче, либо в деликатной и не слишком вышитой косоворотке, в соломенной шляпе, с весьма объемной, но не обременяющей сумкой и тонкой тросточкой, как у французских маркизов времен „Короля-Солнца", он ходил по селам и деревням, где – к священнику, где – к помещику. У одних ночевал, у других гостил два-три дня (редко больше) – и уходил дальше по своему заранее рассчитанному маршруту. Его охотно кормили, поили и, когда он уходил, – прощаясь, деликатно, как доктору, вкладывали в руку каждый сколько и как мог – по сердцу и по средствам, но, конечно, не меньше „желтенькой" (то есть рубля). Его везде принимали как желанного гостя и действительно ждали, потому что он был воспи-

тан, деликатен, образован (кончил университет) и знал решительно все новости и сплетни всего уезда и даже губернии. Вдобавок рассказчик был отменный. Единственное, о чем он никогда не говорил и не заговаривал, – была политика. И не потому, что чего-нибудь опасался, но в его „профессии" ему надо было соблюдать в отношениях с клиентами достоинство и поддерживать в них дружелюбие, а политика слишком часто плюет на достоинство и переходит границы дружелюбных и просто светских отношений. Поскольку к иным он приходил в первый раз и – при всей своей феноменальной памяти не всегда вспоминал, что именно в его архиве значится в фишке данного хозяина в графе „политические убеждения и взгляды", лучше было помалкивать... Как известно, исключения только подтверждают правила, и этот милый бездельник был исключением.

Поскольку я не собирался идти по его следам, то с большим развернутым планом фантастических надежд и реальных возможностей осенью 1914 года отчалил впервые от родного корабля и взял курс на пресловутое „житейское море", то есть в Петроградский университет...

Уже здесь, в Европе, если не почетным и потомственным, то все же весьма многолетним эмигрантом, не так давно случайно натолкнувшись на довольно посредственное, явно написанное не "в своем духе" на злобу дня стихотворение Саши Черного о сестре милосердия, вспомнил, как в поезде, почему-то переполненном (в следующие годы это стало правилом) легко раненными отпускниками, увидел такую боевую „сестрицу".

Была глубокая ночь. В вагоне третьего класса в коридоре, прямо на полу (и даже в уборной), лежали и сидели – кто как и где пристроился – спящие, полуспящие и просто „куняющие" „серые герои". У полуоткрытого окна, в солдатской шинели, белой косынке, стояла и курила, заглушая сон, она – никак не похожая на часто задорно кокетливых, порой явно проституировавших доброволиц, заполнивших впоследствии тыловые госпиталя. На ее немолодом лице какая-то терпеливая горечь, бесконечная суровая усталость. И я впервые по-настоящему почувствовал длящуюся уже месяцы войну...

В тылах – даже в нашем, не очень далеко отстоящем от границ городке – шла обычная мирная жизнь. Бои уходили все дальше на Запад – к Карпатам. Революция еще не успела облагодетельствовать „нищую Россию" коммунистическим изобилием, и поэтому, как и раньше, в магазинах и на базаре требовались только деньги и доброе желание, а все остальное было в обычном, хватающем на всех количестве. Вот только водки и спиртных напитков вообще не было. Память, к сожалению, не сохранила, как обходились без них, пока не наладилось самогонное производство. Конечно, в семьях, из которых ушли на фронт отец, сын, брат или муж, – надолго поселилась неизбывная тревога, но на улице, в общественных местах, дружеских

встречах, приемах, посиделках – жизнь шла как ни в чем не бывало. И только пустые (потом их наполнили запасные и ратники) казармы и закрытые винные лавки напоминали, что в мир вошло безумие.

И вот эта строгая женщина, окруженная аурой человеческих страданий и насильственных смертей, космическое обоснование которых плохо укладывается в индивидуальное сознание, впервые открыла мне, как сказали бы возвышенные люди, сущность войны в плане духовном...

На пересадке пришлось долго ждать. Правда, в последующие годы ожидание нарастало, как снежный ком, покатившийся с крутой горы. Тогда стал ходить злободневный анекдот в виде вопросов и ответов: во Франции на вокзале: „Скажите, пожалуйста, когда пойдет поезд?" – „В 14 часов 25 минут 10 секунд!" – „О, почему же такая точность?" – „Военное время!" В России: „А когда же поезд пойдет?" – „Может быть, в шесть часов с половиной, а может быть, после двенадцати". – „Почему же так неточно?" – „Военное время!"

Когда ленивая стрелка стала, наконец приближаться к шести часам, оказалось, что на пересадке собралось много петербургских студентов и курсисток. После короткого, как теперь сказали бы, „митинга" пошли к начальнику станции, и тот охотно отвел нам отдельный вагон, который мы довольно плотно, до багажных полок, заселили. И жизнь пошла в более мажорном тоне: обычные иронически-шутливые студенческие разговоры и остроты „а ля Онуфрий" (см. „Дни нашей жизни" Леонида Андреева), легкий флирт на товарищеских началах, а кое у кого и азартная дискуссия „о самом главном". И так, пока не потянулись за окном „родные болота"...

Каждый наш университет наполнялся в первую голову студентами из той области, в которой он находился. Так, ни в Казань, ни в Иркутск никто из окончивших гимназию на Волыни не поехал бы. Но в Петербург собирались отовсюду, и его студенчество было не русским, а всероссийским.

Но прежде чем о студенчестве – немного о самом городе.

Не похожий ни на чудесно расположенный, веселый Киев, ни на вальяжную, как купчиха, архитектурно пеструю, слегка с азиатчиной, Москву, вполне европейский и действительно имперский – с величественной, уже предвещавшей море, рекой, – „гранитный барин Петербург" (Агнивцев) не мог не настраивать соответственно и психологию живущих в нем. Сам русский язык звучал в нем по-особому, без излишества московской распевности и киевской хохлацкой акцентировки и походил на тех „Дорианов Греев", что в театральных антрактах в умопомрачительных визитках стояли у рампы и лениво, без особого любопытства разглядывали зал.

Конечно, ампирные архитектурные ансамбли, набережные, проспекты, магазины, убедительные, но без излишества коммерческой назойливости (как на Западе) богатые витрины, столичная публика

в четыре часа на Невском – сразу же и бесповоротно завладели умом и сердцем молодого провинциала (и только бледнолицые, худые петербуржанки не могли до конца преодолеть в этом вопросе природную украинскую склонность к преувеличенному изобилию).

Но – если говорить по совести – больше всего поразил меня столичный городовой.

В отлично подогнанной форме, он без армейской автоматичности, но с достаточной отчетливостью взял под козырек рукой в белой перчатке, когда я к нему обратился: „Как пройти, и т. д." Сдержанно и толково все разъяснил и снова взял под козырек, когда, поблагодарив, я уходил. Я был совершенно раздавлен: „Прямо английский полисмен!" (Тогда я еще не знал чешских полицейских и считал – как, впрочем, до сих пор считаю, – что уже в уходящую эпоху англичане были социально гениальным народом.)

Всю полноту власти в предместье, где я жил, осуществлял одинединственный городовой. Все часы своих дозоров он проводил обыкновенно – и в любую погоду – в предусмотренной на случай ненастья будке. То, чем он занимал свои служебные часы, для законопослушных граждан секрета не составляло: дощатая будка гудела, как улей, от исполинского, разноголосого, хроматического храпа. Проходя на требу, отец-настоятель обычно останавливался и говорил дьячку Агафангелу Петровичу: „Вот ей же ей, труба Иерихонская!" На что дьячок неизменно отвечал: „Здоров спать, кабан рыжий!" – и сплевывал в подзаборную крапиву.

С наступлением темноты храп – рассудку вопреки – затихал, и после недолгого антракта второй акт в будке открывался диалогом: убедительному баритону городового отвечал воркующий смешок одной из соседских горничных. Постепенно разговор переходил в тесный задыхающийся шепоток и наконец в звучания, истолкованию не подлежащие. Внимая этой ночной симфонии, любитель природы сказал бы, что он слышит взмах крыльев взлетающего аиста или шелест ветра в капустных листьях, мистик подумал бы о душе, жаждущей воплощения и стучащейся в двери нашего подлунного мира, а материалист, скучный и плоский, как грифельная доска, ляпнул бы что-нибудь о приросте населения и, конечно, о законе Мальтуса. Впрочем, народонаселению действительно грозил прирост: городовой был любвеобилен, настойчив и неутомим.

Помимо большой любви, – как широкая душа, он способен был и на большую ненависть. Его врагом номер один были, конечно, студенты.

Эти наглые молодые люди говорили между собой на языке непонятном, как аптека: вечно строили какие-то опять-таки непонятные и поэтому особенно обидные шуточки и вдобавок совершенно откровенно не уважали начальство. Странно то, что, окончив курс своих учебных заведений и вернувшись в город следователями, судья-

ми, врачами, учителями, – они начинали жить, как все люди: ели друг у друга именинные пироги и блины, ходили в собор в двунадесятые праздники и царские дни, играли в преферанс в гражданском клубе и часто – на рассвете – выходили оттуда настолько обессиленными, что городовой должен был за них вспоминать, где именно они живут; почтительно поддерживая под локоть и выделывая вместе с ними по пустынной улице замысловатые зигзаги, он провожал их до дому, где и сдавал с рук на руки плохо проснувшейся кухарке. Когда городовой при встрече козырял им, они отвечали любезно и явно с удовольствием. Можно было подумать, что вся бунтарская дурь в их головах происходила от студенческой фуражки.

К счастью для городового, синие околыши мелькали в городе в недолгие летние месяцы и потом разъезжались по столицам. Зато круглый год в городе оставались гимназисты, и вот именно их городовой терпеть не мог. Если из студента мог выйти еще и чиновник, то из гимназиста – при нормальной инкубации – выклевывался только студент. И, наконец, именно гимназистов городовой считал авторами рисунка, постоянно возобновлявшегося на задней стороне его будки. Не очень талантливой, но смелой рукой на рисунке изображались две фигуры разного пола в позах, которые обычно не принимают при посторонних. На одной писалось „Пацюк" (прозвище городового), на другой – какое-нибудь женское имя, каждый раз новое и каждый раз, по-видимому, – в точку, потому что кухарки, выходя на базар, прежде всего спешили к будке, чтобы, как в утреннюю газету, – заглянуть на рисунок. Из-за этого происходили бесчисленные сплетни, дрязги, сцены ревности и даже драки.

Каждый раз, стирая на своей будке неизменно возобновлявшийся рисунок, городовой произносил много всяких слов, но ни одно из них в служебный рапорт не годилось бы. И образа жизни своей он никак не изменил, только стал, заслышав запоздалые шаги, неизменно выскакивать из будки, даже если для этого приходилось прерывать то, что обычно прерывать не принято. Однако эти героические антракты не имели никаких последствий: таинственный художник был неуловим, а городовой, парень дюжий и добросовестный, и выходил из будки, и возвращался в нее одинаково в полной боевой готовности.

Зато к прямым своим обязанностям относился он с большой сдержанностью. Когда заехавший в городишко цирк, по причине тощих сборов, вынужден был пустить своих акробатов на непредусмотренную в афишах ночную работу в квартирах обывателей, – разного рода либералы, протестанты и вольнодумцы стали попрекать городового его служебной халатностью и требовать, чтобы он, оставив будку, совершал ночные обходы своего квартала. Пацюк резонно отвечал: „Куды я пойду? Мой револьвер двухдюймовой дошки не пробивае, а он мине из-за угла каменюкой тарарахнет?!"...

Пореволюционная его судьба – как история мидян – темна и непонятна. Не то он стал сапожником, не то вернулся к истокам и сел на землю. Во всяком случае, все бесчисленные на Волыни смены властей прошли над ним, как облачные тени над сонным прудом.

Зато не вызывает сомнений судьба его блистательного столичного тезки: защищая до последнего патрона заживо разложившуюся ничтожную власть – он был, как говорится на фальшивом революционном жаргоне – „казнен восставшим народом" / „для счастья правнуков"/.

Трудно сказать, кто отвратительнее: те ли, что втихомолку прислуживают полиции, или те, что ежедневно и ежечасно, пользуясь ее услугами, ее „принципиально презирают". Вероятно, – последние, потому что – как показывает история – беспощадно уничтожив „чужую" полицию, они немедленно организуют свою, во сто раз злее, грубее и гаже.

IV.

Было ли все то, что произошло с нашей страной, неизбежным? Теперь, когда для „бесконечно малых", составляющих атом, сама великодержавная, будто бы все еще материалистическая наука отрицает детерминизм, – трудно быть фаталистом, тем более в социологии. Те, что говорят: „если бы да кабы – да во рту росли бобы... Было как было!.. И иначе быть не могло!" – как будто стоят на очень твердой почве практического разума, но забывают – помимо всего прочего – что, угадывая иные возможные модели прошлого, мы тем самым проясняем для себя возможности в будущем, нащупываем те силы, которые могли бы властно впоследствии проявиться, но были навсегда (или временно?) подавлены, из-за материальных обстоятельств и людского непредвидения, восторжествовавшей случайной доминантой.

Например, национализм и православие – две духовные потенции, не слишком действенные в последние предреволюционные годы, впоследствии жестоко и беспощадно истребляемые (у россиян) комдиктатурой, – сейчас, в период возрождения, о котором спорят, стали „пугалом" для целого ряда „профессиональных историков" новой эмиграции. Но тот „взрывчатый патрон", который, как авиатора из терпящего бедствие реактивного самолета, выбросит их на авансцену истории – профессиональные паникеры „себе на уме" находят не в настоящем, а в далеком прошлом: у Иоанна IV и Петра I и еще каких-то таинственных „семи случаях" нашей истории. Из разных последовательных моделей нашего общественно-государственного строя, которые *почти все* были отброшены к 1914 году, – они создают угрожающий всему миру православно-нацистский „рейх", во главе которого ставят „аятоллу" А. И. Солженицына.

Если ученые животноводы из украинского серого быка с длинными рогами целенаправленной селекцией воспроизводят того легендарного дикого лесного быка, который „метал" на своих рогах Владимира Мономаха, то „профессиональные историки", у которых целенаправленность другая, поступают наоборот: из летописного тура выводят посткоммунистического нацистского бешеного буйвола...

Все исследования обстоятельств российской (февральской) революции и большевистской контрреволюции грешат одним и тем же: все забывают, что произошли они на стыке поколений. Революцион-

ные „отцы", духовный облик которых определил социально-политические феномены 1905 года – как раз должны были уступить место „детям", уже узнавшим революцию не только по книгам. Но судьба решила иначе: не успев общественно выразиться, эта смена полегла на Галицийских полях или в донских степях, сгнила (в переносном смысле) в эмиграции или, в прямом, в лагерях.

В предреволюционной Империи Российской многие весьма не жаловали восходящую элиту страны, в частности – студенчество. Для одних студент был синонимом бунтовщика, для других – вдобавок закоренелым „шпаком" (штатским).

Отголоски нутряной неприязни к студенчеству выжили, оказывается, даже после шестидесяти лет эмиграции: не так давно в выходящем в Зап. Германии журнале „Посев" автор, как говорили в старину, „из хорошей фамилии", перечисляя всех, способствовавших победе и закреплению большевиков, упомянул и студентов, тогда как в одной Праге кончало образование несколько тысяч российских студентов, бывших белых офицеров, после длительного перерыва Великой и Гражданской войны снова вернувшихся в университеты и техникумы...

В противовес довольно дружному недоброжелательству правых, все либералы или умеренно левые (неумеренно левые „уважали" один пролетариат), все, считавшие себя передовыми, все, сами прошедшие Высшую школу или собиравшиеся туда направить своих детей, все, не произносившие слова „интеллигент" непременно с саркастической гримасой – проявляли к университетской молодежи неизменную нежность, и не только по сентиментальным реминисценциям собственной веселой молодости, но и как к тем, кому дано наконец, быть может, вступить в Землю Обетованную демократии и свободы, или, во всяком случае, подойти вплотную к ее границам. И вообще, как к молодежи, которая всегда в какой-то мере воплощает будущее.

Студенческую жизнь романизировали писатели (Леонид Андреев, Евгений Чириков), возносили художники (часто воспроизводившаяся в свое время картина „Какой простор!"). „Национальным", если можно так выразиться, праздником московской интеллигенции стал Татьянин день – 25 (н. ст.) января. Праздник небесной покровительницы Московского университета проходил необыкновенно шумно и весело: тосты и речи, так же как и шампанское, лились рекой в хороших ресторанах, песни и водка – в местах попроще.

Вместе с профессорами, писателями, журналистами, политическими, земскими и городскими деятелями, людьми свободных профессий (адвокатами, врачами и т. п.) и, конечно, со всеми студентами – этот праздник во время великого пореволюционного Исхода переехал и за рубеж, и в Праге, в „Русском Доме", например, справлялся с чисто московской широтой, почти российским счетом водок

и закусок, со всем набором исполнявшихся весьма громко, но не всегда стройно знаменитых студенческих песен: конечно, „Гаудеамус”, „Дни нашей жизни”, „Из страны, страны далекой...”, „От зари до зари” и т. д.

И было отрадно видеть, как у эсеровского „патриарха” Егора Егоровича Лазарева, просидевшего — как острила безжалостная молодежь — „сто лет в эмиграции” (т. е. из предреволюционной эмиграции попавшего сразу в пореволюционную), — блестели действительно почти столетние глаза, когда гремело:

Первый тост за наш народ!
За святой девиз: „Вперед!”

Осенью 1914 года, приехав в первый раз в Петроград, как полагалось, к началу академического года, я раскрыл свежий номер „Нового Сатирикона” и сразу же наткнулся на сердечный привет своему (студенческому) „сословию”. Автор, фамилия которого пропала в архивах памяти, бесстыдно обкрадываемых неумолимой старостью, писал:

Вновь взбужден наш хмурый Питер
звонким пеньем синих птиц...

(намек одновременно и на пьесу Меттерлинка, и на синие околыши студенческих фуражек)

Вновь душа душе открыта,
мир безоблачно хорош —
город хмурого гранита
наводнила молодежь!..

Через много, много лет, уже в Париже, я прочел книгу „На земском посту” доктора С. Ф. Вербова и познакомился с автором. Это был далеко не заурядной судьбы человек. Начать с того, что доктор, после работы в Земгоре, в конце войны стал врачом в кавалерийском гвардейском полку и даже участвовал в атаке (если можно назвать „участием” положение всадника, которого ошалелая лошадь носила по бранному полю, а он думал об одном — как бы удержаться и не свалиться...). После октябрьского контрреволюционного переворота оказался он в том же качестве лекаря в конной армии Гая, которая подходила к Варшаве с севера, и по вине Сталина и Буденного повернувших к Львову вместо того, чтобы идти с ним на стык к Варшаве, будучи окружена поляками, после ряда гомерических атак, напомнивших французским офицерам, бывшим при польском штабе, наполеоновские годы и конницу Мюрата, прорвалась в Восточную Пруссию и была интернирована. После Рижского мира гаевцы верну-

лись в СССР, а доктор остался на Западе. Его книга потрясла меня, с одной стороны – убедительным, правдивым и сочувственным изображением нашей „нищей России" и действительно часто подвижнической работы земских врачей в деревнях, с другой – царившей будто бы на стыке столетий в Харьковском университете (где учился доктор) удручающей полицейщиной, чудовищно не похожей, не соответствующей тому, что я нашел в Петрограде.

Правда, впоследствии в разговорах не столько с автором, сколько с его милейшей супругой, я понял, что, поскольку в эмиграции читатель вымирает, а в СССР его непочатый угол, доктор, образно выражаясь, „сгустил краски" в надежде, что соввласти, у которых в Высшей школе еще хуже, соблазнятся возможностью „найти предка" и пропустят книгу в СССР.

Увы, книга не прошла, конечно, а описание „ужасов самодержавия" осталось. В книге доктора „педеля" следят за студентами, подслушивают, подглядывают, залезают даже в курилки. Между ними и слушателями лекций шла непрерывная гражданская война. Естественно, что студенты все время находились на точке кипения. Ничего даже приблизительно подобного я не увидел в Петрограде в историческом здании Петровских Двенадцати коллегий со знаменитым „километровым" коридором. Никаких педелей не было и в помине, то есть был на своих местах вообще малозаметный обслуживающий персонал, сторожа у вешалок и в раздевалке. У последних были у каждого свои „клиенты", которых они знали в лицо и при случае снабжали полезными сведениями, собранными за годы работы от других „клиентов", в частности, о профессорах и их экзаменационных привычках. Когда я как-то, после не совсем благочестивой недели, решив, что все же следует и лекции послушать, зашел в университет и стал снимать пальто, про себя удивляясь, что раздевалка какая-то пустая, сторож меня спросил: „А кого же вы хотите слушать?" – „Конечно, Петражицкого..." – „Да сегодня же праздник!.."

Посещение лекций (по крайней мере, на юридическом факультете) не было обязательным, но аудитории всегда заполнялись у читавших интересно, а тем более таких знаменитых, как Петражицкий, создатель несправедливо забытой эмоциональной теории права, бывший вдобавок весьма придирчивым и беспощадным экзаменатором. У профессоров „назначенных", появившихся при Кассо, слушатели легко поместились бы в одном ряду, если бы сели кучей, но какой процент составляли ходившие по наряду „академисты", а какой случайные или любопытные посетители вроде меня – сказать не могу. Вдобавок читали „назначенные" нелюбопытно.

В те годы вежливость еще не считалась ущерблением личной свободы, и, когда входил профессор, слушатели вставали и садились не дожидаясь, пока им скажут сесть. По окончании лекции аплодировали иногда из приличия, а то с благодарностью и даже с востор-

гом... Аплодисментов, переходящих в овацию, не помню. Впоследствии, сравнивая с западными университетами, пришел к заключению, что у нас скорее были старшие и младшие товарищи, чем учителя и ученики. На Западе, похоже, студентов больше загружают работой.

В составе учащихся подавляюще преобладали разночинцы, процент детей рабочих и крестьян, конечно, был незначителен – этого порядка молодежь только-только стала заполнять городские (четырехклассные) и ремесленные училища.

Даже внешностью студенты этих лет отличались от привычного „типа" XIX столетия. Почти не было „патлатых". Если в других университетах предпочитали форму, то в Петрограде обязательной (то есть вернее – общепринятой) была только фуражка (шляп я как-то почти не помню), но пальто было обычно штатским, как часто весь костюм (мой иркутский приятель называл его „тройкой"). Впрочем, обычный гость двух студентов, снимавших комнату рядом с моей, носил длинные волосы, тужурку, красную косоворотку и сапоги. Но он был эсером и – выражаясь по-современному – активистом. Мы называли его – по Андрееву – Тенором, потому что он лихо пел под гармошку свои рязанские „страдания". В нормальных условиях крепко посмеивавшиеся над его революционной деятельностью, мы, когда дворник его предупредил о возможном обыске и он поспешно эвакуировал из своей комнаты нелегальную литературу, – все же добросовестно ее у себя (и в хозяйских дровах) прятали.

Если революционеры явно потеряли в глазах молодежи свой прежний ореол, то власть от этого никак не выигрывала, и верные ей „академисты" были предметом всеобщего злого презрения.

В момент объявления войны, когда происходила периодическая манифестация, петроградские студенты – говорят – стояли на коленях перед Зимним Дворцом и пели „Боже Царя храни". Но бесталанная власть не сумела ни ответить на этот стихийный порыв молодежи, ни его закрепить, ни – тем более – использовать. И уже на втором году моего пребывания в университете начались антиправительственные демонстрации.

В то время, как с одной стороны знаменитого бесконечного, как посадочная площадка реактивного самолета, коридора двигалась сотня революционеров с пением „Марсельезы", а с другой им навстречу – тоже сотня „академистов" с „Боже Царя храни", остальная тысячная масса сидела на подоконниках, курила, болтала ногами, вышучивала и тех и других: „Две паршивые собаки грызутся, а мы тут при чем?" – так формулировал общее настроение один молодой мыслитель, даже не предполагавший, до чего он прав.

Действительно, все эти будущие российские судьи, адвокаты, учителя, ученые – были уже решительно вне спора „двух паршивых собак". Еще в среде курсисток сохранилась старая народническая сла-

щавость, и мне лично приходилось слышать разговоры девушек, во всех прочих отношениях вполне нормальных, о том, что „...мне уже 20 лет, а я еще ничего не сделала для народа". И лично я знал дочь богатейшего архангельского купца, которая, по окончании гимназии, пожелав „служить народу", определилась учительницей в самое гиблое место на Кольский полуостров. В ее поморскую дыру с парохода спускали ее по веревке – пристани не было. Проработав там два года, она серьезно заболела – опасались туберкулеза, – и родители на коленях умолили ее поступить на курсы. Такие героические сентиментальности у среднего студенчества уже были не в моде. Университет для кающихся дворян отошел в прошлое.

Новые студенты не противопоставляли себя народу, не чувствовали никакого долга перед ним, потому что сами были органической его частью. Гражданское сознание этой молодежи, может быть, и не достигало лучших английских образцов, но было совершенно здоровым, без революционной истеричности и националистического „кваса". Эта молодежь хотела сама устраивать свою жизнь, и упрямо охраняемые властью „устои" казались ей бездарной и досадной помехой (последняя собака знала, что – из всей Европы – они уцелели только у нас).

Во время войны (что греха таить) не раз приходилось слышать в студенческой среде, что „армия – это собрание дураков, не успевших освободиться от воинской повинности". Но когда этих остряков забирали в школы прапорщиков и отправляли на фронт, они, если выживали (жизнь прапорщика была короче воробьиного носа), приезжали в отпуск уже боевыми поручиками, а то и штабс-капитанами и разговаривали совсем иным тоном (впоследствии именно они составили становой хребет Добровольческих армий).

Однако окопы, стирая внешнее „пораженчество", никак не меняли общего отношения к власти. Впрочем, кто в это время стоял за эту власть, если заговоры зрели даже в непосредственном окружении трона?

Неудивительно, что ничтожные затруднения в снабжении столицы и мятеж одного гвардейского запасного батальона в несколько дней обратили в прах трехсотлетнюю Империю. Это крушение оказалось детонатором для многих непредвиденных событий, и в результате погибла не только изжившая себя окончательно архаическая империя, но и та молодая интеллигентная поросль, которая была способна без революционных потрясений вынести самодержавие и все связанные с ним „пещерные" институции за исторические скобки и создать по-настоящему европейскую, многоплеменную, демократическую и свободную российскую (а не русскую) страну.

V.

Впервые вошла *Она* в мою жизнь после русско-японской войны, впечатлившей мою детскую душу больше всего тем, что в ней участвовала богато представленная в общеизвестной, служившей в то время своего рода общероссийским телевидением, марксовой „Ниве", белыми, как чайки, красавцами-кораблями Дальневосточная наша эскадра. В этой парадной раскраске (к пущей радости японских наводчиков) она, кажется, и начала боевую карьеру, чтобы в результате стать, как острили иностранные злопыхатели, „самым большим подводным флотом в мире".

Мою семью русско-японская война затронула только слегка: был мобилизован дядя-доктор, оставивший в семейном альбоме с бархатным переплетом интеллигентную скептическую (на всякий случай) улыбку под огромной косматой маньчжурской папахой. Кроме папахи, была еще и офицерская шинель с серебряными докторскими погонами и – неизвестно к чему – шашка („селедка", как назвали ее всякие штатские насмешники). Правда и то, что к этой форме ланцет присобачить было бы неудобно.

Но вот дядя вернулся, война кончилась – и началась Она.

В одно ничем не примечательное утро в приготовительном классе Н-ской гимназии шла диктовка. Учитель Пал Палыч, гуляя между партами, раздельно произносил малоосмысленные, но переполненные ловушками на „букву ять" фразы, вроде: „Белый, бледный, бедный бес убежал голодный в лес" и т. д. А мы прочие, кто спокойной и уверенной рукой, кто свистящим шепотом справляясь у более осведомленного товарища, кто, благодаря отличному зрению, „скатывая" у сидящего впереди и благорасположенного пятерочника, – заносили нарочитую грамматическую галиматью в разлинеенные тетрадки.

И вдруг без всякого особого шума двери широко распахнулись, и вошедшие в класс старшеклассники объявили, что урок прекращается, потому что по решению какого-то там комитета, гимназия забастовала. Все, что произошло в дальнейшем, никак не похоже на „самодержавный тоталитаризм", а больше всего напоминает, увы, современный „свободный мир", в частности, Европу.

Мы вышли на гимназический двор и по детскому своему состоянию занялись своими обычными переменочными играми, а Пал Па-

лыч без особой враждебности отправился со старшеклассниками к директору... Не было ни полиции, ни жандармов. Через некоторое время нас снова собрали в класс и объявили, что гимназия закрывается на две недели. Через день приехал отец и забрал меня в деревню, что для меня, еще не привыкнувшего к жизни вне родительского дома, было приятным подарком судьбы, так что, хотя психическая атмосфера вокруг была, как теперь сказали бы, „реакционной", я чувствовал себя почти революционером. Почти... Потому что даже тогда что-то неодолимое меня от этой „стихии" отталкивало и в ней отвращало. Возможно, это была врожденная особая чувствительность в той области, которую профессор Петражицкий считал „месторождением права" – области императивно-атрибутивных эмоций. В этом было больше инстинктивного, если угодно, звериного (в хорошем смысле слова), чем собственно разумного, „человеческого". Теперь уже известно всем, что императивно-атрибутивные переживания широко распространены в животном мире: так называемые „поля охоты" не только строго охраняются их „собственниками", но и возможные „захватчики" вокруг ведут себя так, что сомнения не составляет наличие у них сознания собственной неправомерности.

В нормальных условиях взаимоотношения между людьми и разными ими освоенными, вещными сущностями видоизменяются постепенно, от одной потребности к другой, безболезненно меняя объекты и субъекты императивно-атрибутивных переживаний.

Но революция – результат заторможенной эволюции – взрывает все, и старые императивы, и их атрибуты: и пока не выработаются и не закрепятся в новых поколениях новые, в обществе царит обнаженное насилие, в первую очередь уничтожающее честных, смелых, ответственных, свободолюбивых. А потом начинает править созданный им „отбор наоборот". И нужны поколения, чтобы общество вернулось к нормально терпимому проценту негодников на командных постах.

Во всяком случае, после первой, только что рассказанной нашей встречи, я уже не помню такого периода моей российской жизни, когда никто, нигде, никак – прямо или косвенно – не говорил бы о революции.

Вот вспоминаются те старосветские, уютные, благодушно-провинциальные съезды соседей, вечеринки, семейные праздники, которые до последней войны, как доисторические игуанодоны на таинственном плоскогорье „Потерянного мира" Конан Дойля, сохранялись еще в ставших „поветами" самоопределившейся Польши бывших уездах императорской Волыни, а теперь перешли в археологию навсегда... Почтенные отцы играли в преферанс, толковали о приходских и хозяйственных делах (при царе на Волыни они были вроде бы как маленькими помещиками), а иногда и о чрезвычайно высоких и тонких материях (во всяком захолустье находились мысли-

тели, изнывающие над тайнами бытия и мироздания). Жена, чада и домочадцы упражнялись во всех возможных видах провинциальных развлечений, но в одном из углов обычно не менее шестикомнатного дома неизменно спорили о революции.

Передовые студенты и семинаристы утверждали, что „она запоздала", молодые батюшки – „что народ еще не созрел для свободы". За карточным столиком старики степенно посмеивались над теми и другими, а господин уездный воинский начальник, шурин хозяина, сосредоточенно записывая „пульку", сохранял полный нейтралитет. Из украшенной традиционными гигантскими фикусами гостиной, где танцевали под всеуездно известный пятичленный оркестр маэстро Фидельмана и развлекались светскими играми („фанты", „море волнуется"), заходили в угловую покурить и послушать спорщиков признанные дон-жуаны и завидные женихи – офицеры пограничной стражи, – Австрия была в десяти километрах. Они в прения не вступали, по положению им этого не полагалось, но слушали охотно, порой подхихикивали – и только. Ибо никакой ум иноплеменный не в состоянии представить ту особенную, „семейную" свободу, которая совсем непонятным образом – без конституции, хартии вольностей и прочих аксессуаров Запада – осуществлялась в этой формально как будто закованной самодержавием стране.

Впрочем, после учреждения Союза Русского Народа, когда и сторонники власти усвоили „метод революционный", стало менее семейно и менее уютно. По Волыни с крестными ходами (хоругви и царские портреты) носились (можно даже сказать – бегали) два проповедовавших ненависть к революции и евреям христианских монаха: Илиодор и Виталий, а сельских батюшек ex oficio записывали в Союз, препровождая им казенным пакетом значки и устав того Отдела, который они должны были у себя на селе открыть.

И патриархальный мир стал настораживаться. На семейных вечеринках появились новые, весьма самоуверенные люди с верноподданностью „во всю грудь", и они держали речи о революции, но уже с другого конца.

Однако все эти встречные ветры не могли победить уже нарастающий на большой глубине „девятый вал". На поверхности казалось, что Столыпин перевешал всех „смутьянов" и пресловутое „сначала успокоение – потом реформы" – уже наступило. Заграничные люди писали о необычном экономическом процветании Российской Империи и предсказывали ей, что, если не будет ни „великих потрясений", ни войн, – она скоро станет первой державой Европы.

Но... кроме экономики было еще большое и тяжелое историческо наследство. И о нем не хотели вспоминать те, кому это было невыгодно.

Ряд больших неправд перенес от своих властей российский народ.

Царь Борис разделил его на рабов и господ, патриарх Никон – на истинных христиан-православных и отщепенцев, почти еретиков. Царь Петр одних перевел в Европу, других оставил в Московии. Указ о „вольности дворянской" – одних, с сохранением благ и преимуществ, сделал свободными даже от службы государству, других оставил обязанными данью пота и крови. И, наконец, освобождение от рабства не закрыло старой раны: „Мы ваши, а земля наша", – говорили в свое время мужики... И вот земля в значительной мере осталась не „нашей".

Вспоминается, как в годы столыпинских реформ в село, где священствовал мой отец, приехал бродячий торговец „кацап", продававший разные, как теперь сказали бы, „предметы культа", от колоколов до риз, крестов, чаш и подсвечников включительно. Считая, что в ризнице кое-чего не хватает, отец созвал „братчиков" (старинное установление на Украине: уважаемые благочестивые прихожане, составлявшие содружество, заботившееся о церкви) в церковную сторожку, где происходил показ товара, оценка, торг и покупка. Когда с делом покончили, начались, конечно, разговоры с „бывалым" человеком. Мало-помалу добрались и до „леворуции" и до „земельного вопроса". Батюшка, конечно, „завиральных" идей поддерживать не мог и указывал на положительные стороны нового земельного закона, например, – на возможность для малоземельных переселения в Сибирь с правительственной поддержкой. На что „кацап", поблескивая искрами щелястых глаз, выдаивал из клинушка жиденькой бородки одно и то же: „А пущай министры туды сами и едут-с!"

„Братчики" – поскольку среди них особенно малоземельных не было – солидно помалкивали или подзуживали шуточками „кацапа". Но что они думали, догадаться было не трудно: сразу за церковным погостом помещался „фольварк" помещика, на котором, как еще их отцы помнили, при крепостном праве по субботам пороли провинившихся крестьян. За фольварком – на три стороны расходились земли помещика. Ему же принадлежал и большой рыбный пруд с мельницей и – на противоположном берегу – дворец (палац) с парком, по аллеям которого дети графа развлекались верховой ездой, когда вся семья приезжала в Россию, потому что обычно они жили в Австрии, где поляки чувствуют себя больше „у себя". И вот „братчики" представляли себе, как это они бросают свои, выстроенные еще отцами дома с ими же выращенными вишневыми „садочками", бросают село, такое привычное и родное, с церковью, в которой их крестили, венчали, отпевали их отцов и дедов и прадедов, бросают родные могилы и тащатся за тысячи километров в неизвестную и звучащую зловеще Сибирь, тогда как тут же рядом земли хоть завались и обрабатывает ее арендатор, чтоб было на что жить в Кракове не любящим России владельцам.

Конечно, граф мог быть русским и жить не в Кракове, а, скажем, в Париже или даже в Петербурге, куда и посылались бы ему деньги управляющим или арендатором, но сущность вопроса от этого не менялась.

Земельный вопрос, как груз динамита, лежал в подвалах российской государственности, и роковую случайность можно было предотвратить, только эвакуировав своевременно этот опасный исторический реликт. Это понял П. А. Столыпин, но из всех возможных методов этой „эвакуации" избрал как раз рассчитанный на десятилетия, в то время как детонация могла произойти каждую минуту. Но Столыпин не мог поступить иначе: он прежде всего спасал, старался укрепить и расширить тот класс более или менее мощных земельных собственников, на который главным образом и опирался трон. На самом же деле для страны не так уж важно было – что экономически выгоднее: фермерское, то есть хуторское, или сельское, то есть мелкое (обычное или общинное) хозяйство; в крестьянской стране важно то, под ветром каких настроений окажется крестьянство, когда все остальные устои общественного порядка начнут сдавать. Более весомой гири судьба на весы революции положить не могла: рабочий класс был относительно незначителен и в 1905 году показал, что без армии (то есть, в конечном счете, без крестьянства) ничего сделать не может. Тем более ничего не могла интеллигенция, которую, правда, чаще всего обвиняют в том, что она „подготовила" революцию.

Революция – явление стихийное и в его предопределителях слишком много неизвестных (то есть, при нынешнем состоянии знаний об обществе и его законах, не поддающихся учету). Поэтому, если можно подготовить смену кабинета или дворцовый переворот (например, октябрь), то при самом пылком желании и предельных усилиях и жертвах нельзя подготовить революцию, как нельзя вызвать извержение вулкана или создать ураган. Но, конечно, можно и должно, предвидя революцию, подготовиться к ней, то есть заранее знать, каким именно силам, которые она развяжет, нужно содействовать и каким противостоять.

И тут уже российская интеллигенция, из боязни „генерала"* (республиканца, кстати) пропустившая Ленина, не имела бы оправдания, если бы не ее европейские тезки, которые теперь, в конце XX века, через шестьдесят с лишним лет после российской революции, объявляя мерзким варварством, недостойным цивилизованных стран, смертную казнь для уголовного насильника и многократного убийцы – в то же время признают „исторически оправданным" уничтожение одной трети населения для того, чтобы заставить уцелевшие (пока что) две трети строить везде и при всех ухищрениях разваливающийся коммунизм.

------

*Имеется в виду ген. Корнилов.

Российская интеллигенция если и виновата, то лишь в том, что родилась, выросла и воспитывалась в европейской культуре и, даже считая себя славянофилами или евразийцами, усвоила ее, можно сказать, „первородный грех" – двуличный гуманизм.

Поскольку участились попытки коварную природу этого явления вывести из российской „народной души" – очень важно указать на подлинные корни определившего (в особенности наш живодерный век) феномена.

Они, конечно, идут глубже и якобинских клубов, и Святейшей инквизиции и опускаются к тем временам, когда самое высокое в мировой истории моральное учение, предназначенное только для тех, кто „может вместить", только для „малого стада", осуществляющегося как бы вне истории и ее, совсем на других основаниях организованных общений, – ввели в историческую государственность, а затем, оборвав его божественные корни, лаицизировали, тем самым превращая еще сохранивший радужный отблеск неземного альтруизм в самый черствый, грубый и хамский эгоизм...

Но это совсем особая, очень трудная и очень опасная проблема.

Для настоящего важно отметить, что все последние десятилетия перед Первой Мировой бытовавшая в российской общественности тема революции в первые годы войны как бы уснула, а потом – поскольку огромное большинство общественников всех мастей были оборонцами – именно ради скорейшего и благополучного окончания войны („справедливого мира") перешла (порой не только на словах) в тему дворцового переворота.

Вдобавок власть прямо на глазах становилась все никчемнее. И вот в театрах столицы, когда перед началом спектакля исполнялись оркестром союзные гимны, марсельезе стали устраивать демонстративные овации, в поездах отпускники говорили о недостатках снабжения, о наживающих „мильёны" на их крови спекулянтах, о генеральских изменах, вообще о том, что „старый бог спит, а молодые править не умеют". Приятель, уже посидевший в окопах прапорщик, рассказал мне, как „солдатня", не стесняясь, поговаривает, что „японскую войну их благородия пропили, а эту с милосердными сестрами... прогуляли" (и некоторый „дым" в этом „огне" был, хотя и не по вине „их благородий": на одной из пересадок я видел в вагоне первого класса самую красивую и самую дорогую нашу городскую проститутку в костюме сестры милосердия, и уже немолодой гусарский ротмистр целовал ей ручки). В случайных и неслучайных встречах в столице (и не только в столице), как неизменная злоба дня, фигурировал Распутин и... необходимая перемена. Парикмахер, мсье Дышель, собираясь почистить подбородок приехавшему в родной город на рождественские каникулы студенту, спраши-

вал: „Ну что там у вас, в Петербурге?" И, слушая рассказы, одновременно выправляя на ремне бритву, повторял: „А...? (непередаваемый буквами звук) Слишком натянуты струны! Слишком натянуты струны!.."

...И вот они лопнули...

VI.

Рассматривая фотографии Помпеи – прославленного дома, например, со статуэткой Сатира посреди остающегося сухим две тысячи лет бассейна, или „виллы мистерий", с реалистическими фресками разных фаз посвящения, носящих (или это только кажется сейчас) несколько „тантристский" характер, или мозаику с общим видом на ряд богатых вилл с „приапическим указателем" на первом плане – думаешь, что самые гениальные наши режиссеры при любых затратах продюсеров не способны великолепно сохранившийся скелет этого римского города одеть плотью жизни. Не просто жизни правдоподобной (то есть похожей на нашу), а вот именно воскрешающей то неповторимое, что есть в каждой эпохе каждой страны и что было и в этом городе в тот апокалипсический вечер, когда взорвавшийся вулкан, задушив раскаленными газами все живое, засыпав его пеплом и прикрыв плотным панцирем лавы, похоронил его навеки...

И вот, когда хочешь рассказать новым людям о том, что было до того, как стихийно обрушилась, словно источенный термитами деревянный дом, внешне могучая империя наша, и ураганом большевистской контрреволюции смело и то, что стояло еще прочно, и даже то, что только что начинало возводиться для органически новой постройки – всегда вспоминаешь слова одной маркизы времен Реставрации: „Кто не жил при старом строе, не знает настоящей сладости жизни".

„Ну, – скажут со всех сторон, – перехватил малость! А была ли эта „сладость" – помимо владельцев родовых поместий или толстой сумы, или до самой смерти обеспеченного государством – у безземельных или малоземельных крестьян? У рабочих, без современной защиты и охраны, социального страхования и пенсий – что называется – голую грудь противопоставлявших золотой кирасе и жадности хозяина? У евреев, запертых в гетто считанных городов „черты оседлости", в которой на произвол судьбы и собственной изворотливости были брошены несколько миллионов людей, откровенно не пользующихся любовью „истинных патриотов" и государственных институций, обставлявших их всякого порядка законными рогатками и ограничениями? У раскольников, бежавших в „леса и на горы", чтобы иметь возможность молиться по-своему? У инородцев, порой

со словарем (русским) короче воробиного носа и абсолютной неприспособляемостью, попадавших – как в волчью яму – в чужую и тугую солдатскую жизнь с немилосердным живодером-фельдфебелем?

„Сладость жизни", господа хорошие, могла ощущаться всеми: и нищими, и отверженными, и униженными, и оскорбленными – „сладость жизни" вовсе не синоним радости и счастья. (Ведь это именно еврейский поэт, правда, уже за рубежом написал: „Особенный еврейско-русский воздух!.. Блажен, кто им когда-нибудь дышал...") Она создавалась ощущением устойчивости общего порядка жизни, исключающей неожиданные, до сих пор непредвиденные крушения и провалы, и вместе с тем надеждой на возможность медленного, но реального уменьшения обстоятельств отрицательных за счет роста положительных, и могла испытываться только теми, кто хотя бы относительно уважал людей и верил в их „человечность".

Конечно, много горя было на Святой Руси, но еще горше оно казалось в нашей пессимистически выпуклой (поэтому и ставшей среди других особенной и великой) литературе. Не то чтоб она его выдумывала – нет; она заботливо его коллекционировала и шлифовала, как бриллиант, и неодолимым блеском его пронзала всякое чувствительное сердце. Если на Западе оттачивали стиль, отбирали слова и фразы, у нас коллекционировали и обрамляли человеческую скорбь, горечь, унижение, страдание. От этого наша литература становилась мировой, а наша жизнь – даже благополучная – неизлечимо больной и провинциальной по отношению к передовым странам. И именно поэтому последние предреволюционные молодые поколения с таким упоением – вместо Толстого и Достоевского – набросились, например, на Джека Лондона. У американского писателя люди порой опускались даже ниже девятого круга Ада, но жизнь всегда оставалась здоровой и непобедимой. Даже в смерти и через смерть она утверждалась и торжествовала.

Но все это относится к так называемой интеллигенции – не читавшее ни Достоевского, ни Джека Лондона огромное большинство российского населения жило вне ее элитарных забот и жило по-своему.

Как бы ни относиться к тому, что обычно называют „Духовным миром" – религиозные корни у всех существовавших (и существующих) до сих пор культур не подлежат сомнению. Воплощающаяся в периодически обновляемое историческое выражение, космическая религиозность является одним из самых стойких контрфорсов в здании любого человеческого общества.

Это вовсе не значит, что февральская революция не удалась потому, что российская интеллигенция была арелигиозной. Трудно найти в мире более религиозную элиту. Правда, она была в значительной части нецерковной, но даже Ленин одолел только потому,

что принес в мир свою черную – ненависть, месть, вместо любви и прощения, – псевдорелигию.

И все-таки: через шестьдесят с лишним лет непрерывных и совершенно бесстыдных (как ни странно, не вызывавших особых протестов у присяжных западных гуманистов) давлений на совесть граждан, комвласть, опозорив, разрушив, взорвав молитвенные здания, уничтожив или распродав иконы и священные изображения, расстреляв наиболее искренних, честных и смелых верующих, справилась – и то не с религией, а с разными ее культовыми выражениями, – в лучшем случае, только наполовину.

В дореволюционный народный быт, даже если он был беден и груб, чаще сходил тот Дух Утешения, который теперь, на заре коммунизма, редко бывает в гостях колхозника или рабочего.

Несмотря на все беды и обиды, в дореволюционном прошлом бытовало самое демократическое, потому что лишенное всяких социальных „чинов" и „орденов" отношение к человеку. Как говорит грубоватая великорусская пословица: „морда овечья – да душа человечья". А душа почиталась у всех равнодостойной: как у „победителей жизни", так и у побежденных ею, и по-настоящему оценивалась и взвешивалась только в том мире, откуда возврата нет... Никто не предполагал заранее в другом доносчика-стукача, способного на все, „идеологического врага", „насекомое" – то есть подлежащую уничтожению „контру".

Для того, чтобы почувствовать это не в формальном плане и не в отношении закона (порой даже вопреки ему) утверждавшееся душевное равенство, стоит перечесть рассказ Тургенева „Бирюк" или еще лучше рассказ несправедливо отодвинутого совсем на задний план Леонида Андреева „Баргамот и Гараська", рассказ, настолько задевший общественное внимание, что прозвище главного героя попало даже в известную, не слишком благонамеренную шутку по поводу памятника Александру III, работы Паоло Трубецкого, перед Николаевским вокзалом в Петербурге („стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте Баргамот, на Баргамоте шапка").

Сознание всеобщего, хочется сказать, „субстанционального" братства, помимо всего прочего, способствовало в прежней русской деревне той взаимопомощи, множественные проявления которой так тщательно описаны Глебом Успенским. Из них должна была вызреть самостоятельная руссистская общественная доктрина, „российский солидаризм", скажем, если бы его не затоптала грубая механика псевдогуманистической диалектики, закономерно, а вместе с тем обманно восторжествовавшего „на верхах" совершенно чуждого народу псевдонаучного марксизма.

Даже там, как, например, у нас на Волыни, где не было общины, где „помочи" нельзя было объяснить круговой порукой за выплату подати, уже во время польской оккупации после Рижского мира, на-

правляясь из Чехии в „отпуск" в родной город (на самой границе Советского Союза), еще в вагоне услышал я, как польский чиновник, весь в галунах и нашивках, жаловался на консерватизм и тупость волынских крестьян. Они, видите ли, чтобы уничтожить ставшую невыносимой черезполосицу, подали прошение о выходе (выражаясь по-столыпински) на „отруба" и, конечно, сразу получили удовлетворение: поляки, после того как реквизированные свыше известной нормы помещичьи земли были заселены „осадниками", то есть бывшими польскими солдатами, среди которых, в усадьбе побольше, селился обязательно офицер – разрядив этими „Аракчеевскими" поселениями украинские деревни, весьма рекомендовали аборигенам еще более рассредоточиться на хутора, или хотя бы отруба.

Когда в село, о котором идет речь, приехал землемер и собрал сход, его вдруг спросили: как будет с выгоном, на котором пасся обычно весь домашний скот? Землемер, конечно, ответил, что выгон пойдет в „общий котел" и будет разделен между „отрубниками". „А как же скот? Где он будет пастись?" – „У каждого на его участке". И тут неожиданно цивилизованный паныч наткнулся на скифское варварство. „Ни, це не справедливо! Вот Марыська, ее человика забылы во время первой мировой в Карпатах, кроме огорода при хате, земли почти не имеет. Все ее богатство – корова, которая пасется на выгоне. Чем же она теперь ее кормить будет? Це не годится. Хай буде як було!"

После октября 1917 года во время стихийного „черного передела", по всем свидетельствам, собранным В. Черновым (см. его статью под тем же названием в сборнике Института Изучения России в Праге), все обошлось с минимальным количеством неприятностей и столкновений, а тем более – жертв. Удержавшимся в деревне помещикам обычно оставляли усадьбу (если это не был „дворец") и землю „по общей норме".

Любопытно, что в прошлом – из всех монастырей, „в Земле Российстей просиявших", самой образцовой и самой цветущей (и в хозяйственном смысле) коммуной была Соловецкая обитель, по составу монахов подавляюще „мужицкая". В то время как недалекий (и тоже островной – на Ладожском озере) „дворянский" Коневец, по репортажу того же несравненного Немировича-Данченко, отличался не столько спиритуальностью, сколько спиритуозностью своих монахов.

Соловецким трудникам весьма помогла их особая „мужицкая" вера (не смешивать с нянькиными „тремя китами"!). Если не изменяет память, еще Лев Толстой восхищался интимностью и бытовизмом крестьянского отношения ко всему тому, что называется „богопочитанием" (у Лескова это – „Христос за пазушкой"). На Соловецких островах постороннему наблюдателю могло показаться, что

святители Зосима и Савватий продолжают жить здесь же, в своих кельях, и непосредственно дают молитвенные и трудовые задания и выслушивают доклады об их исполнении: до того обыденно-простой и полной казалась кооперация между „тем" и „этим" (материально-хозяйственным) миром. Так часто теперь иронически подчеркиваемый термин „Святая Русь" – конечно же, не значил, что Русь заселялась исключительно святыми.

Если согласиться с Аскольдовым, что в российском характере больше от ангела или от черта, чем (как в Европе) просто от человека, – то в отличие от Европы и просто люди, и даже „черти" у нас считали самым большим людским достоинством не силу, не ловкость, не ум, не талант даже, – а вот именно „праведность", святость (хотя бы в самых „уродливых" ее выражениях – „юродивые", „убогие", „дурачки Божьи") и высшее оправдание жизни видели не в материальном плане.

Поколеньями установленный, согласованный с природой распорядок жизни крестьянской Руси заполнял дни мудрым чередованием порой почти каторжных трудов (при спешной, из-за погоды, уборке полей и лугов) с отдыхом и степенным веселием праздников.

Строго и уверенно шел годовой круговорот, в котором космическая правда язычества сочеталась с надмирными перспективами христианства. В Святой Рождественский вечер, после первой звезды, зажженной как кроткая лампада над засыпанными синим снегом хатами, за истовым традиционным ужином – вареные зерна пшеницы с медом и необмолоченный сноп в красном углу под иконами – сопричащали собравшихся сразу и к древнейшим, впервые ставшим оседлыми пра-пращурам с их впервые и невозвратно переступившей животный обычай пищей, и Вифлеемскому вертепу с Божественным младенцем на соломе яслей...

Как показало злосчастное наше столетие, разложению общественной жизни неизменно предшествует оскудение религиозное. Если коммунизм до сих пор побеждает в мире, то единственно потому, что он сумел стать псевдорелигией. Это никак не значит, что стоит всем, изнемогающим от круговых кризисов и висящим на волоске над кризисом самым последним – атомным – европейским народам опомниться и смиренно пойти за чудесно явленным с Востока Папой туда, куда он так настойчиво зовет, то есть – назад в „равноапостольную и католическую", чтобы наступила тишь да гладь, и все террористы и гангстеры постриглись бы в монахи, а коммунисты, исповедавшись и причастившись, публично на главной площади сожгли бы „Капитал" и „Коммунистический манифест". В истории религий бывают восстановления культа, но не бывает восстановления веры. „Когда соль потеряла свою силу, что сделает ее опять соленой?"

Но важно, что без „соли" (то есть воплощенной в историческую религию космической религиозности) никакой настоящей, прочной,

перспективной и человечной „социальной каши" не сваришь, и – как свидетельствует наша провалившаяся в тартарары идеологического кретинизма революция – в российском народе стихийная религиозность неистребима. Ее можно, обманув, направить на ложный путь, даже на самозаушение, но уничтожить невозможно. Она пережила и то, что Перуна, с серебряной головой и золотыми усами, запряжка круторогих быков стащила в Днепр, и то, что в припадке идиотского марксистского вандализма в Москве взорвали храм Христа Спасителя. Она остается и под материалистически-одномерной обывательской безверностью, и под кощунственным комсомольским хулиганством.

Приятель нижеподписавшегося, одессит-украинец с весьма российской душой, в 1919 году, пытаясь пробраться с поручением от „Белой ячейки" в Крым, уговорил знакомого рыбака (кстати, контрабандиста), и тот повез его в своей промысловой лодке. В открытом море стало свежеть и началась почти буря. В самый критический момент, когда „белый воин" уже представлял себе, как его молодое тело путешествует в кишках прожорливых крабов, рыбак, пытаясь убрать не поддающийся парус, стал, как водится, грубо сквернословить и, в конце концов, помянул и Богородицу, и Господа Бога.

Как только шквал поутих, „белый воин" не выдержал: „Как вам, Сергий Олексович, не стыдно в такой момент так ругаться!"

Сергий Олексович посмотрел на собеседника с непередаваемым презрением: „И чему вас на гимназии училы! По-вашему, Бог не понимае, когда я взаправду, а когда только так?"

...Умом Россию не понять... Недаром много чудивший и все же самый настоящий поэт Сергей Есенин незадолго до своего трагического конца просил: „И за все за грехи мои тяжкие, За неверие в благодать, Положите меня в русской рубашке Под иконами умирать..."

В городах у потомственных мастеровых были свои искушения и срывы, и стихийная религиозность часто оборачивалась мещанской обрядовостью, традиционным украшением быта.

В немногочисленный потомственный пролетариат уже проникала, занимая место религиозности, материалистическая революционная пропаганда, которую, однако, приходящие из деревень пополнения незаметно корректировали давней народной мечтой о праведном царстве, со справедливой властью и правой верой, благоденствующей где-то в „Опоньской стране", за горами, за долами и синими морями, может быть, там, куда, спасаясь от зимней стужи и бескормицы, мощным биологическим потоком через всю страну неслись ежегодно осенью перелетные птицы. Возможно, что их заоблачная перекличка, увлекая за собой и волнуя воображение, и породила „опоньскую" мечту, которая, конечно, весьма способствовала приятию революции, но вместе с тем не переродилась окончательно, как хотелось бы некоторым, в массовую марксистскую веру.

О некоторой „особой стати" российского пролетария, дети которого уже начинали включаться в интеллигентскую элиту страны, свидетельствует хорошо известная автору правдивая история одного, никогда не привыкнувшего к эмигрантской судьбе эмигранта. Его отец (так же, как дед) работал на текстильной фабрике в Кинешме и был убежденный толстовец. Как вспоминал сын, у отца в квартире собирались рабочие и – по графу Льву Николаевичу – обсуждали, „как жить". Старший сын этого „наставника" кончил реальное училище и поступил в высшую школу, но, став эсером, попался на революционной пропаганде и был выслан в Сибирь, где, кстати, очень скоро и хорошо устроился заведующим каким-то отделом в организации, занятой проведением грунтовых дорог и постройкой мостов в предгорьях Саянского хребта. Благодаря его денежной помощи, и второй сын, будущий эмигрант, кончил то же реальное училище и поехал к брату, сразу же устроившему его „техником" на том же строительстве. Но тут грянула Первая Мировая. „Техник" (он, кстати, тоже стал эсером) бросил работу и пошел на фронт добровольцем. К началу революции был уже штабс-капитаном, командиром пулеметной команды. В конце периода Временного Правительства стал начальником милиции в родном городе, а после Октября в остром конфликте с „победителями" вошел в „Союз Освобождения" и в конце концов пробрался на Юг в Добрармию. Ее порядки ему не очень понравились, и при Врангеле он примкнул было к белым-зеленым, партизанам капитана Орлова. Во время эвакуации Крыма сел уже на один из кораблей, но не вынес мысли о разлуке с Россией и сошел на берег. Когда начались массовые расстрелы оставшихся и сдавшихся (зарегистрировавшихся) белых, снова ушел в горы к настоящим зеленым. При НЭПе, когда жизнь стала улучшаться и татары перестали поддерживать партизан, вместе с другими спустился с гор и сдался красным. Но очень скоро поняв, что пощады ему не будет, снова бежал и после ряда перипетий пробрался на Север и через Финляндию ушел в Европу... До конца дней не мог отвыкнуть от России и оставался чужим западной жизни. В очередных припадках ностальгии несколько раз пытался вернуться, но... каждый раз отходил еще дальше от тех, с кем собирался мириться. С тем и умер, по счастью не дожив до встречи с людьми, которые показали бы ему, что его „третьей" (то есть не царской и не пролетарской) России пока нет...

Все это мило (скажут скептики), но не объясняет, почему „они" победили? И почему народ позволил так исковеркать свою душу?

Подобно тем христианам будущего (а, может быть, уже настоящего?), которые примут явление Антихриста за второе пришествие Христа, наш народ увидел „Опоньское царство" в Октябрьской контрреволюции...

А когда понял, что жестоко обманулся, было уже поздно.

VII.

В первой половине января 1917 года, возвращаясь с рождественских каникул в Университет в Петроград, я, как полагалось по скидке на студенческий билет, в третьем классе, то ли еще до пересадки в Киеве, то ли уже в Курске, попал в вагон, в котором из-за переполненности второго класса оказалось немало офицеров, вернее прапорщиков („курица не птица, прапорщик не офицер", как говорили тогда).

Хотя можно было предполагать, что на линии Киев–Брянск–Москва в вагонах свободнее, но пришлось бы ехать с Брянского вокзала на Николаевский, на извозчике через весь город, а после Петербурга и Киева, по-разному, но исключительно красивых, Москва отталкивала меня своей архитектурной „свалкой", вроде той мусорной кучи, в которой почти не ношенная бальная туфелька упирается в дырявый ночной горшок, а все вместе, с бутылкой от шампанского, тонет в навозе из обеденных объедков. Серый, скучный и бездарный „модерн" почтамта, изукрашенный декоративными нашлепками вроде как раковинами особняк Морозова, античный перистиль возле какого-то моста и псевдовосток нового Казанского вокзала, – все это становилось поперек моего сознания и вместе не пролезало в эстетику никак.

И я предпочитал тряскую (последнюю из частных, ставшую государственной) линию Киево-Курскую, отчасти (что греха таить) и потому, что, ожидая пересадки, можно было отведать в Курском вокзальном буфете приготовленной на пару отменной осетрины.

В вагоне скорого поезда „Минеральные воды – Петроград" или „Севастополь – Петроград", уже не помню, в купе, где я нашел место, оказался еще один студент-политехник, а все остальные были прапорщики, как раз из той породы, которая в гражданской жизни не очень жаловала студентов (то есть из бывших семинаристов, учеников учительских институтов или даже так называемых „городских училищ"). Они продолжали свой собственный, как будто подготовленный предыдущим знакомством разговор, а мы с политехником автономно завели свою беседу. Мой визави, своей будущей профессии наперекор, обнаружил недюжинную осведомленность в декадентской и вообще литературе, вернее, в ресторанных – „отдельно-кабинетных" или домашне-интимных частностях ее представителей.

Похоже, что он и сам, как говорится, „грешил стишками" и вообще жил „богемно". К сожалению, последующие годы, более важные, чем изящная словесность, как наждачной бумагой стерли его пикантные рассказы, так что случайно, и совершенно неизвестно почему, уцелел только один, впившийся в память, как клещ, случай: Аркадий Аверченко с Надеждой Тэффи ужинали в каком-то ресторане. В разговоре Тэффи обратила внимание своего „кавалера" на принимавшего пальто и шубы посетителей лакея: „Вы знаете – он пишет стихи и даже подает надежды!" На что Аверченко, которому лакей почему-то не понравился, ответил экспромтом:

Чтобы стихи писать,
так надо грамотным быть прежде,
он не надежды подает,
а подает пальто Надежде!

Слушая весьма довольного своими знакомствами и своими сведениями рассказчика, я случайно взглянул на прапорщиков и мимоходом услышал, что один из них, скосив глаза в нашу сторону, многозначительно сказал: „Вот наши будущие командиры...". Зная „передовую" репутацию нашего студенчества, я понял, что они говорили о происходящем бедламе и о революции...

Вспомнилось недавно слышанное: „Сильно натянуты струны!", и всякий интерес к „литературным отдельным кабинетам" и альковам, да и вообще к литературе, пропал...

...В столице я не нашел ничего нового, чего не оставил бы уезжая. Так же, как всегда, извозчики у Николаевского вокзала, завидев нас, распахивали полости саней и кричали: „Сюда, товарищи, сюда!" (У них для студентов „товарищ" полагалось так же, как „ваше высокоблагородие" для офицеров, „ваше степенство" для купцов или „ваше благословение" для духовенства.) Тот же чудесно заснеженный при голубоватом электрическом свете Невский стучал копытами рысаков, несущих по разным направлениям легкие санки, и пестрел на тротуарах вечерней принаряженной толпой.

В квартире на Съезженской, где я снимал комнату (во второй жили два студента, в третьей – две курсистки, а в четвертой, бывшей гостиной, сама хозяйка с малолетним сыном и дочерью), мои соседи уже из отпуска вернулись и первым делом рассказали мне анекдот, которым уже давно в прифронтовой полосе осчастливили меня знакомые офицеры из интеллигентов: „Георгий Победоносец, узнав, что *Георгиевская Дума* присудила его орден Царю, как Верховному Главнокомандующему, вернулся злой из очередной поездки, поставил коня в стойло, в сердцах воткнул копье в навоз и крепко выругался: „Ну, если так, то я больше не поеду!"

Нельзя сказать, чтоб этот анекдот особенно меня веселил. Монархистом я не был и приязни к Царю не чувствовал. Но – как сказал

Борис Савинков: „Я могу убить моего Государя, но оскорблять его я не позволю!..” Было обидно, что во главе такой страны, в такое время стоит такой человек... Старый петербуржанин как-то мне рассказывал, что в юности часто встречал императора Александра II в Летнем Саду, где тот запросто прогуливался со своей любимой собакой. А германский кронцпринц, посетивший Россию уже при Николае II, не переставал удивляться, как это можно править страной, отгораживаясь от нее при всяком выезде двумя сотнями казаков, сзади и спереди. От самого воцарения Николай II стал как-то вне страны. И вошел в нее только в Екатеринбурге.

Мои соквартирники вообще находили, что „тучи сгущаются” и в очередях, уже появившихся (пора бы, кстати, начать подготовку к 65-летнему юбилею этой общественно-полезной институции), начинают довольно громко и недовольно „выражаться”, что, кстати, и мне лично уже приходилось слышать. Подружившись с соквартирниками-студентами, которые, договорившись с хозяйкой, пользовались ее плитой для своих обедов, – я перестал питаться в „польских”, „немецких” и прочих, довольно многочисленных тогда на Большом проспекте столовок и перешел в квартирную „артель”. Мы готовили по очереди и по очереди ходили на базар, и однажды, в свой черед ожидая у лавки, я слышал, как пожилой рабочий объяснял окружающим, что, хотя работа у станка и освобождает от сидения в окопах, – на фабриках неспокойно: „Мы всю Россию обрабатываем и еще в очередях должны стоять, тогда как другие на войне наживаются”.

Насколько я помню, в тот раз мне удалось, кроме хлеба, закупить квашеной капусты и полтора фунта снетков, которые я, как житель юга, видел в первый раз. Смешав крошечные, как зерна овса, рыбешки с капустой, я создал блюдо, после которого мне выдали шуточный диплом за „кулинарные заслуги”, долго сохранявшийся у меня как блестящий плод студенческого остроумия.

Если внешне жизнь как будто не изменилась, общественная психология была, можно сказать, на пороге инфаркта.

Воспоминание о недавних жестоких поражениях на фронте, приписываемых изменам и нерадению начальства, возникшие неизвестно почему затруднения со снабжением столицы, объясняемые публикой порой даже тем, что дефицитную тару отнимал для своей минеральной воды пресловутый Куваки, пользовавшийся связями в „сферах” авантюрист. И наконец, скандальная трагикомедия с убийством Распутина и не менее скандальные, внезаконные и внесудебные санкции для участников его, создавшие в народе впечатление, что, вот „один мужик до царя добрался, и того баре убили”. Но так как это баре, их не судили и в тюрьму не посадили. Мужиков, значит, и убивать можно. Все это, вместе с чудовищными по лжи, бессовестными сплетнями о Царице и Великих Княжнах в связи с их работой в качестве сестер милосердия в офицерском госпитале, совершенно

растлевало сознание широких масс столицы. Сказать, что это порождало „революционную сознательность", никак нельзя: сильный и уверенный в себе человек (вроде Клемансо) в короткий срок вернул бы разболтавшиеся мозги в исходное положение. Но — как выразился очень правый человек, В. В. Шульгин: „Все державы мобилизовали свои лучшие силы, а у нас „святочный дед" (Горемыкин) премьером. Вот где ужас. Вот отчего страна была в бешенстве..."

Разумеется, это „бешенство" никак не могло стимулировать и собственно революционные ячейки, деятельность которых в конце прошлого столетия до 1909 года неизменно нарастала, а затем пошла на снижение, и в первые годы войны они впали в анабиотическое состояние. Теперь они пытались проснуться — в частности, стали чаще те „сходки", которые посещала одна из снимавших комнату в нашей квартире курсисток. Ее аполитичная сожительница, землячка-подруга, говорила, что она „большевичка". Тогда это крайне редкое понятие звучало совсем по-иному: оно еще не сочилось кровью и не веяло трупным смрадом, а было вроде как препирательство по поводу того, чем креститься: щепотью или двуперстием. Вдобавок „большевичка" была отменно некрасива и, зная это, особенно настаивала на „товарищеском" к себе отношении и, здороваясь, крепко по-мужски жала руку. Но, впрочем, очень обижалась, если, расходясь после „собрания", ей не подавали пальто или не пропускали первой в дверь...

И вот „оно" произошло, то, что обычно называют революцией, но что по существу не было ею: революция началась после падения монархии, а самодержавие самосильно рассыпалось в прах.

Однако судьбе было угодно не сделать меня „свидетелем истории" (во всяком случае — этой истории).

Наш общий приятель, мобилизованный студент, кончал военное училище и должен был отправиться на фронт. Мы старались устроить ему достойные проводы, но водки (спиртные напитки были запрещены в продаже с начала войны), не имея никаких связей в соответствующих кругах, не достали, зато на закуску раздобыли отменную копченую рыбину, которую втроем и потребили. Мне — по жребию — досталась серединка, приятелю студенту — часть, ближе к голове, а юнкеру — к хвосту.

Когда через два дня новоиспеченный прапорщик зашел, чтобы с нами перед отъездом попрощаться, мы оба в своих комнатах лежали пластом, отравленные рыбьим ядом и вдобавок слепые, как кроты, — в этом яде, оказывается, есть атропин, и он расширил наши зрачки до того, что мы различали только свет и тень. Положение приятеля оказалось настолько серьезным, что его вскоре отвезли в госпиталь. А я две недели отходил дома.

И только от „вестников": весьма мило взявшей на себя роль сестры милосердия курситки-соседки (не большевички) и земля-

ка-однокашника, студента Военно-медицинской академии, последовательно узнавал, что начались массовые демонстрации, что казаки объявили нейтралитет и толпу не разгоняли, что взбунтовалась рота лейб-гвардии Волынского полка, что к ней присоединились другие, что еще „верные" и уже „неверные" правительству части перестреливались через Неву, что у бунтовщиков не оказалось офицеров, которых на Выборгской стороне заменили студенты старших курсов Военно-медицинской академии, уже побывавшие на летней практике на фронте.

Когда победа бунтовщиков стала несомненной и шло уничтожение оставшейся до конца на посту полиции, я решил, что снятые с фронта части будут осаждать взбунтовавшийся Петроград, как „версальцы" – ставший коммуной Париж, и спешно отправил телеграмму родителям о высылке мне денег на случай, если осада затянется. Телеграмма исправно дошла, и деньги были получены. Но в маленьком городке все известно, и, поскольку я написал, что заболел, горячие молодые головы решили, что я „жертвою пал в борьбе роковой любви беззаветной к народу" и готовили мне торжественную встречу. И только последующие разъяснения избавили меня от более чем незаслуженного триумфа.

Мысль об осаде не мне одному приходила в голову. Командир гвардии Преображенского полка, полковник Кутепов, с двумя тысячами человек, двенадцатью орудиями и более чем достаточным количеством пулеметов, занял было Зимний дворец, чтобы обороняться в нем до подхода подкреплений, но был „выселен" оттуда (чтоб не пострадали культурные ценности) Великим Князем Михаилом Александровичем, в дальнейшем своим отречением превратившим дворцовый переворот в революцию. Тогда отряд перешел в Адмиралтейство, но морской министр Григорович, опасаясь за целость своей квартиры, попросил его оттуда удалиться. Полковник Кутепов решил утвердиться в Петропавловской крепости, но военный министр ген. Беляев, плача навзрыд, приказал отряду разойтись...

В своих воспоминаниях жандармский полковник Мартынов рассказывает, как он предложил главноначальствующему гор. Москвы „в обстоятельствах, грозящих гибелью государству, взять в свои руки всю власть в тылу и объявить осаду взбунтовавшегося Петроградского гарнизона и к нему присоединившихся врагов Родины, а для этого – распустить, разоружив, ненадежные части московского гарнизона, а надежные, прибавив к ним юнкеров, кадетов и полицию, – направить к Петрограду". Генерал выслушал, но от исполнения задачи уклонился. Собранные им военные начальники разных чинов и званий выслушали хмуро и как-то апатично его распоряжения („классические" – С. Р.) на завтра. Но Мартынов „явно чувствовал, что на деле – они спасуют"... Что и случилось.

В окрестностях Петрограда стояли два учебных пулеметных полка (двадцать тысяч человек), подготовлявших пулеметные команды для действующей армии. Узнав о событиях в столице, командиры увели их куда-то подальше на „маневры", лишь бы в случае чего не идти на усмирение. Генерал Иванов, бывший на очень хорошем счету в Царской семье, привез Георгиевский батальон в Царское Село, чтобы охранять Дворец, в котором у постели больных детей – четырех Великих княжен и Царевича, находилась жена его Государя. Узнав, что ходят слухи, будто толпа собирается напасть на Дворец, генерал, чтобы не впутываться в грязное дело, усадил свой батальон в железнодорожный состав и отбыл в менее тревожном направлении.

Самое удивительное во всей этой удивительной, будто вывороченной наизнанку истории – это неверие в ее серьезность завзятых революционеров. „Мы, старики, быть может, до будущей революции не доживем" (В. Ленин, за два месяца до революции). „Ни одна партия не готовилась к перевороту... То, что началось в Питере 23 февраля, почти никто не принял за начало революции" (Н. Суханов). „Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев, спящими" (эсер Мстиславский). „Революция ударила как гром с неба и застала существующие общественные организации врасплох" (эсер Зензинов). Накануне революции „большевики были в 10-ти верстах от вооруженного восстания" (историк-большевик Покровский). „Нет и не будет никакой революции, движение в войсках идет на убыль и надо готовиться к долгому периоду реакции" (большевик Юренев, 25 февраля 1917 года).

И в это время, когда во всей стране, кроме столицы, было спокойно и „революционные штабы", как неразумные девы перед постучавшим в дверь женихом, не знали, с чего начать: „ложиться спать или вставать", в Ставке Верховного Главнокомандующего человек, облеченный неограниченной самодержавной властью, всю жизнь упрямо настаивавший на „завете предков" и не желавший из-за них поступиться ни одной иотой, – когда его трон стал валиться, – не попробовал его удержать, не попытался бороться серьезно с теми, кого всю жизнь ненавидел, и с „окамененным нечувствием" подписывал одно отречение за другим, „сдавал Россию словно эскадрон заместителю" – как выразился некто из его свиты...

Сейчас говорят, что он проявил „христианское смирение" и шел, как Агнец, на „искупительную жертву". Но „смирение" следовало бы проявить гораздо раньше, а „искупительная жертва" превращается в суд и осуждение, когда за собой тянут не только свою семью, но и 60 миллионов к такому смирению ни сном, ни духом не причастных людей.

VIII.

Когда, предварительно распустив Думу, царь отказался от трона за себя и за сына, а потом, несмотря на уговоры, отказался и Великий Князь Михаил Александрович; когда в армию, словно мина из подлодки в удобно подставленный борт как раз занятого другим крейсера, был пущен „Приказ № 1", и Россия осталась беззащитной на всех ветрах назревавшей с начала столетия революции, — мне на всю жизнь запомнился первый, вышедший после событий номер „Нового Сатирикона", неизменным читателем которого я был.

Насколько помнится, на первой странице был шуточный проект грандиозного памятника: „Протопопову — благодарная Революция" (или что-то в этом роде), а дальше шло интервью, которое будто бы дал царь одному из сотрудников журнала за некоторое время до крушения империи. Как обычно, царь был безукоризненно любезен, слушал очень внимательно и, когда встал, показывая, что аудиенция кончилась, разнежившийся хорошим обращением сотрудник „Сатирикона" взял его фамильярно за пуговицу: „Николай Александрович! Дайте ответственное министерство! Дайте ответственное министерство — и вас будут на руках носить!"

К сожалению, царь этого разумного совета не послушал. Хотя счастливый его соперник в постыднейшей для нас Дальневосточной кампании, император Мутсу Хито, в стране, как будто менее подготовленной, положил конец феодализму и уже в 1889 году ввел парламентский строй, что, вопреки всем нашим черносотенным кликушам, не помешало ему выиграть войну не только против Китая, но и против значительно раньше вступившей на путь европеизации России, вооруженные силы которой оказались и на суше, и на море, и технически, и психологически (высший командный состав) негодными...

Но вызвавшая неудачную первую революцию японская война была не последней. Начались неудачи в Мировой войне, подчеркнувшие весь наш внутренний бедлам, и как будто вечно страдающее одышкой царствование последнего русского императора утомило всех, в том числе и монархистов („по-сердцу", а не для карьеры).

И не удивительно, что вроде как глубокий вздох облегчения прошел по стране, когда строй так бесславно покончил с собой.

Конечно, „облегчение" было не у всех. Были искренние монархисты, которых позорный саморазвал империи в разгар тяжелой войны не только огорчал, но и ужасал... Были такие, что боялись исключительно за себя и свою в недавнем прошлом завидную судьбу. Но были и немонархисты, которые, не ожидая ничего доброго от революции, боялись за Россию.

Помню, как я, при всем своем отвращении от строя, никогда по его поводу не занимавшийся трикотажем у словесных якобинских гильотин, когда пришедшие в себя после свалившегося им, как снег на голову, переворота представители неумеренно левых партий заговорили об „углублении революции" – спросил у своего приятеля, кончившего вместе со мной гимназию с золотой медалью и бывшего единственным откровенным революционером в классе: „Какую же конституцию вы предлагаете теперь ввести – французскую, американскую, швейцарскую?" – он ответил мне с необычайной и несвойственной ему легкостью: „А зачем нам у других списывать... Мы свою выдумаем!.." И действительно, выдумали... И так оригинально, что 60 с лишним лет спустя я, зная, что он еще жив, и зная, где он живет, и зная еще и то, что общие друзья сообщили ему и мой адрес и что я хотел бы возобновить с ним „обмен мыслями", но не решаюсь „стеснить" его, – не написал ему ни строчки.

Конечно, в стране, которую „они выдумали" – это вполне нормально... Теперь мне почему-то кажется, что вся их „оригинальность" стала особенно ощущаться после впервые открыто и всенародно отпразднованного всей страной „Первого Мая".

Что это не порожденная временным расстоянием иллюзия – отчасти убеждает меня один весьма недурно написанный мемуарный роман, который я как-то по долгу службы прочел. Достаточно зажиточная помещица, имение которой находилось недалеко от Киева, интересно и убедительно рассказывает, как они с мужем лихорадочно переживали первую осень 1916 года, известия и сплетни из столицы, прения в Думе, убийство Распутина и как обрадовались, когда все это разрешилось отречением, быть может, и не плохого человека, но не удачного (и неудачника) царя. И вот, как говорится, „с надеждой и верой" милая дама попала в Киев на празднование Первого мая и впервые увидела, как сквозь ее интеллигентскую революцию грубо и властно прорывается тот самый „Ахерон", о котором предупреждали „Вехи": расхристанные, с висящими хлястиками на шинелях солдаты, полупьяные девки тротуарного вида и т. д. Начиналось то анархическое восстание масс, которое, вместе с никогда не засыпавшей окончательно в крестьянстве пугачевщиной, позволило пройти к власти бесчеловечному, безжалостному, мстительному коммунизму, наложив на него свой хамский и заборный отпечаток.

Лично я почувствовал дыхание „стихии иной" почти с самого начала, то есть с того момента, когда впервые после долгой болезни уже после всех событий вышел на улицу и... не узнал города. Задуманный, построенный, живший всегда под имперским ореолом „гранитный барин" Петербург, став революционным, оказался явно не в своей тарелке, – притих, посерел, погрязнел. Даже толпа на тротуаре стала как будто иной...

На Большом проспекте Петербургской стороны я наткнулся на процессию: хоронили, по всей видимости, какую-то скончавшуюся от ран жертву последних выстрелов защитников „проклятого режима". Конечно, ни духовенства, ни хоругвей, ни креста (хотя усопший мог быть как раз и верующим). Все заменял оркестр, хотя и не идущий в ногу, но игравший хорошо. И торжественная, как будто успокоенная и примиренная, романтическая печаль марша Шопена как-то шла отдельно от всего этого шествия. Оно не было многолюдным: очевидно, „жертва революции" ничем особенно в жизни не отличалась. Но все же гроб окружал почетный караул: шестеро рабочих, кто в кепке, кто в шляпе, все в разномастных штатских пальто и с шашками наголо.

Это несоответствие и раздражало, и угрожало. Шкала традиционных значимостей распадалась. Политическая перемена строя произошла, на очередь становилась перемена культур... Начинался бунт масс...

Решив, по настоянию врача, для полного выздоровления уехать к себе на юг, на Волынь, я направился в участок за разрешением на выезд... Написав эти строчки, я призадумался: а почему, собственно, требовалось разрешение на выезд?

Нигде очагов сопротивления новому режиму не намечалось. Благодаря полной пассивности царя и отказу Великого Князя Михаила империя, как карточный домик, сама собой – от петроградского толчка – рухнула в неодолимом саморазложении на всем протяжении Руси Великой от Петрограда до Владивостока, от Архангельска до Севастополя. В столице генералы свиты Его Величества украшались бантами отменной величины, гвардейский экипаж „Штандарта", прелестной императорской яхты, всегда стоявшей у Дворцовой набережной, на своего рода присягу новому строю привел в Таврический Дворец самолично Вел. Кн. Кирилл Владимирович, и дворцовые лакеи по собственной инициативе составили подписку на заем „Свободы". И тем не менее факт: необходимо было разрешение на выезд. Возможно, что я ошибаюсь, и это была нормальная „выписка", а возможно, что таким путем выуживали тех, кого на митингах называли „зубами старого режима" („В чемодане Штюрмера нашли фальшивые зубы – это зубы старого режима"!).

Итак, я направился в свой участок за разрешением. Там меня из очереди моментально „выудил" (узнав по фуражке) и „мобилизо-

вал" комиссар, вполне штатский и интеллигент: „Товарищ! Пока что – помогите нам в канцелярщине!" И я стал писать удостоверения и ставить печати. Пока я так „помогал", мимо меня все время проходили, приходили, уходили „милицейские" – все свой брат, студенты. Одни серьезно, с твердым сознанием своей гражданской миссии, другие – вроде меня – без особого выражения, третьи – с юношеским пылом играя в „стражей порядка". Один такой, видимо, не до конца изживший в юности незабвенный мир Фенимора Купера и Майн Рида, либо по совету Кузьмы Пруткова, чтоб быть красивым, мечтавший (если бы не война) поступить в гусары, – был в галифе и сапогах, кажется, даже со шпорами (впрочем, эту пикантную подробность ироническая память, возможно, прибавила впоследствии).

Уже в эмиграции приятель, которому я рассказал, как „работал" в милиции, добавил весьма пикантный случай из своего милицейского опыта (этот случай я уже как-то рассказывал в другом издании, но он настолько характерен для „девственной" поры революции, что его, может быть, стоит повторить).

В квартальном комиссариате из всех „приспешников" самодержавия остался один, чтобы сдавать дела. Он тихо и скромно сидел в уголке и составлял опись, презрительно незамечаемый всеми.

Как-то исполняющие обязанности милиционеров студенты-добровольцы привели вора, взятого с поличным. Комиссар, он же – в действительной жизни – адвокат, предложил виновному сесть и весьма убедительно рассказал ему, что красть сегодня и красть вчера, говоря по-одесски, „две большие разницы". Теперь, когда „народ берет сам в руки свою судьбу, когда мы выходим на дорогу к светлому будущему и строим новое общество – красть – это преступление против тех, кто своей жертвенной кровью освободил страну".

Вор в доску смутился и даже слезу утер: „Ей-Богу, господин, тоись, звиняюсь, гражданин комиссар, да разве ж я не понимаю... Дык ето самое – не знаю как... Да накажи меня Бог, ежели!.."

Комиссар великодушно положил ему руку на плечо: „Я вам, гражданин, верю! Надеюсь, вы займетесь честным трудом и оправдаете мое доверие!"

И приказал его отпустить. Студенты взглядами аплодировали своему начальнику, а у „сбира" самодержавия в углу – голова, казалось, еще глубже ушла в плечи.

Через два дня раскаявшийся попался опять и опять с тем же – крал. Комиссар на этот раз не предложил ему сесть и сухо начал допрос. Но вор и не отпирался. Он, конечно, решил бросить это грязное дело, но его, как отбывшего в свое время тюремное заключение, на работу не берут: „Дык я ж, господин, – тоись, звиняюсь, гражданин комиссар, голодный и холодный два дни как тая собака туды-сюды... И в животе, звиняюсь, ни... ну и не выдержал..."

Комиссар, нахмурясь, подумал, пожал плечами и написал несколько строк знакомому фабриканту.

„Вот пойдите с этой запиской и вас устроят..."

Отпущенный на свободу произнес страшную клятву на верность всем гражданским добродетелям и удалился.

Студенты на этот раз посмотрели ему вслед по-особому и по-разному. Через несколько дней они довольно-таки грубо поставили перед комиссаром все того же „крестника": попался с поличным.

„Как?! Вас не взяли на работу?"

„А я как раз собирался туды пойтить..."

Адвокат вскочил из-за стола, опрокинул стул и в первый раз в жизни не очень умело, но изо всех сил заехал вору, как говорится, в морду.

И тут внезапно ожил „сбир" самодержавия.

„Что вы делаете! – зашипел он, хватаясь за голову, – ведь останутся следы, и он на следствии покажет, что был избит в полиции, то есть, извиняюсь, в милиции, что показания его были вынуждены... А по такой-то статье уложения – и т. д. и т. п. Разве так можно?! Иди сюда!" – вдруг властно обратился он к вору. Тот растерянно подошел и сразу же хлопнулся на пол: низенький и, казалось, не очень сильный человечек ловко и всей ладонью хватил его по лицу. „Сбир" самодержавия театральным жестом показал поверженного разинувшему рот комиссару: „Вот, попрошу, полюбуйтесь, есть следы?" Вставший было на ровные ноги вор снова полетел на пол, и „сбир" снова торжествующе: „Есть следы?"

С того дня безымянный мастер своего дела стал для всех Парфентием Степановичем; все студенты, входя, с ним здоровались и уборщица Луша больше не обносила его чаем...

Когда мой рабочий день в участке-комиссариате подходил к концу – я сам себе написал удостоверение на выезд, сам поставил на нем печать и, улучив мгновение, подсунул комиссару-адвокату, который поставил на ходу какой-то свой иероглиф на месте подписи.

Все было в порядке. На все еще называвшемся Николаевским вокзале я, как обычно, дал носильщику рубль, он отлично устроил меня в переполненном скором поезде, и я до пересадки в Москве (поскольку это была ночь) счастливо дремал. А от Москвы через Брянск до Киева и от Киева к себе не переставал наблюдать „народное ликование", объектом (или предлогом) которого отчасти был и сам как студент: общественное представление о студентах, как об отъявленных революционерах, оказывается, пережило охлаждение университетской молодежи в этом вопросе и не заметило смены поколений.

Пожилые, правда, были значительно более сдержанны. Одни со снисходительной улыбкой поглядывали на продолжающую справ-

лять гражданские именины молодежь. Другие явно оставляли все свои раздумья про себя и говорили о постороннем...

Извозчик от вокзала в родной город (двенадцать километров) тоже был радостно взволнован, но как „интеллигентный" еврей, обращался к пассажиру на всякий случай сразу по-старому и по-модному: „Скажите, товарищ-паныч! Как же это чудо случилось?" На расстоянии „это", действительно, казалось чудом.

Зато в отеческом доме нашел я глубокий траур. Первое, что я увидел в гостиной: на обычном месте – большие царские портеры в красках. Царь в гусарской венгерке и ментике и царица, действительно, очень красивая, в белом платье с бриллиантовой диадемой.

Отец ни за что не хотел их снять, несмотря на все мои убеждения и уговоры, несмотря на указания на то, что дом наш – собственно общественное место: каждый прихожанин может сюда по духовной нужде зайти...

На все доводы отец отвечал на своем обычном хохлацко-русском диалекте: „Мы жили, пока они были. Теперь и им, и нам – конец!"

Семинарию он кончил и историю французской революции знал и, к сожалению, оказался пророком: если он умер своей смертью и похоронен достойно, то единственно потому, что приход его остался в той части пограничной Волыни, которая отошла к Польше.

Но портреты он вскоре все же снял. И не потому, что я его убедил. В одно из воскресений, по более чем двадцатилетней привычке, он, на литургии, сам того не замечая, провозгласил моление о „Благочестивейшем, Самодержавнейшем...", „О Супруге его...", „О матери Его..." и о „Всем Царствующем Доме" – даже безмерное удивление и ужас в глазах дьячка не остановили его.

И произошел скандал. Возмутились не прихожане, которые в большинстве (в принципе) ничего не имели против монархии и жалели, что Михаил отказался; шумели случайно зашедшие в церковь солдаты стоявшей в окрестностях города кавалерийской (кстати, гвардейской, это была прифронтовая полоса) части. По счастью, дьячок оказался настоящим Златоустом и диалектиком и разъяснил возмущенным воинам, что двадцать лет повторяя одно и то же чуть не каждый день, – человек, естественно, не может вникать во все слова и произносит их автоматически, и то, что батюшка сейчас всенародно провозгласил моление о царе, как раз и показывает, что он о них по-настоящему и не молился, то есть „имел их в уме, а не в сердце".

Не развращенные еще ни „классовой ненавистью", ни местью марксистской революции, солдаты объяснением удовлетворились, посоветовали „попу" быть осторожнее и ушли, бряцая шпорами, все еще подтянутые и на все пуговицы застегнутые...

Но на всякий случай отец портреты снял.

IX.

Весна 1917 года. Никакие думские стенограммы, ни точные записи дневников самых умных и самых проницательных – не воскресят того, что было на самом деле. Для того, чтобы с горькой нежностью вспоминать весну 1917 года совсем не обязательно быть революционером, но обязательно не быть реакционером и пережить эту весну самому. Ведь поначалу она была не революцией, а освобождением! Освобождением от давно себя изжившего, мешавшего не только врагам монархии, но и ее друзьям, настолько неумного и нелепого строя, что в век индустриализации министр „торговли и промышленности" хвастался тем, что никогда не снизошел до рукопожатия с каким-нибудь „толстосумом"! И даже, бесспорно, человек незаурядный С. Ю. Витте говорил об этом секторе российского общества в выражениях скорей „феодальных" (хотя на Портсмутской конференции, чтобы расположить к себе американцев, специально пожал руку машинисту привезшего его поезда).

Освобождение живого, бурно развивающегося организма от прижимавшего его к земле трупа не могло не быть радостным, даже если таило в себе опасную неизвестность. Особенно для той молодежи, за спиной которой не было ни поместий, ни привилегий, ни заменяющих отчасти и то и другое мешков с золотом, ничего – кроме возможного в ближайшем будущем диплома Высшей школы, обеспечивавшего безбедную жизнь при всяком нормальном строе – в те времена с дипломами сидели без работы только те, кого наследство богатых отцов освободило от малых трудов или кто их не хотел и не искал...

Не собиравшийся и при царском режиме идти на коронную службу, мечтавший об адвокатуре и общественной карьере в столице – конечно, Петрограде, – я как будто не должен был бы особенно опасаться дальнейшего развития российских потрясений, если бы не боязнь за стабилизацию фронта, с таким трудом достигнутую, и отсутствие уверенности в том, что якобинские безобразия для нас этап не обязательный, что если „Великая и Бескровная" и была только довольно пошлой интеллигентской декламацией, то все-таки „малой кровью" кронштадтских офицеров и петроградских полицейских обойтись, может быть, удастся.

Тем более такую надежду лелеять было легко в далеком провинциальном малороссийском городке, где под великолепным безоб-

лачным, подлинно праздничным небом проходила первая официальная и торжествующая первомайская демонстрация.

Благодаря близости фронта, в этой демонстрации еще не было, как это видела в Киеве ранее упоминавшаяся „свидетельница истории", ни расхристанных, в шинелях с висящими хлястиками солдат, ни пьяных девок. Состоявшие в единственном в городке „Пансионе тети Ревекки" так называемые „девочки" содержались в известной дисциплине, а общественная независимая представительница самой древней в мире профессии, работая на свой страх и риск, плодами трудов своих растила малолетнюю дочь и не позволяла себе напиваться.

Так что по главной – конечно, Шоссейной – улице, в относительной стройности и порядке, текли знамена, флаги, плакаты, цветы и по-настоящему – тогда еще не было обязательной явки – восторженная толпа. И то сказать: из пятнадцати тысяч насельников городка две трети впервые стали из терпимых илотов полноправными гражданми: могли ехать, куда им нравится, селиться, где угодно, не быть постоянной дойной коровой привередливой полиции и отдавать своих детей в любые школы, в любом городе огромной, как материк, страны.

Помню, как я, вместе с другими товарищами, с кружкой и набором значков собиравший доброхотные даяния не то на „Заем Свободы", не то на что-то другое, по тем временам не менее значительное и „звучное", подошел к одному из наших городских эскулапов, доктору Батю, уютному толстяку, неодолимому оптимисту и анекдотисту, все свободное от медицинских консультаций и визитов время проводившему в гражданском клубе за ломберным столом, одним из самых верных рыцарей которого он был. Наблюдавший за процессией с тротуара доктор, пока я прикалывал ему на отворот пиджака значок с портретом „заложника демократии", то есть введенного в состав Временного Правительства Петроградским советом солдатских и рабочих депутатов „первого министра-социалиста" А.Ф.Керенского, глядя на меня как на родного и сияя, как именниник, запихнул мне в кружку очень крупную ассигнацию. И кто бы мог тогда представить, что через два года этот же самый доктор Бать, по той же самой крупнобулыжной мостовой, по которой топали восторженные демонстранты, – вместе с другими, недавно „всеми уважаемыми людьми города", вслед за вызывающими всеобщее внимание барабанщиками, пойдет полураздетый, неловко ступая по камням непривычными босыми ногами, неся на груди плакат „бездельник-картежник", а с тротуара на все это поучительное шествие, очень по-разному его воспринимая, будет глазеть только что лихим рейдом 1-го Червонного Казачьего полка „освобожденный" от мелкобуржуазного прихвостня международного капитала Петлюры „торжествующий пролетариат"?

Но все это таилось там – в „лучшем будущем", куда пока еще не заглядывало веселое первомайское солнце, и Весна Освобождения продолжалась...

Если для того, чтобы судить П. Н. Милюкова и А. Ф. Керенского или вообще период активности (иные предпочтут сказать – пассивности) Временного Правительства нужен человек еще не пришедших поколений, уже свободный не только от последствий пьянящей февральской лихорадки, но и наводящей ужас и отвращение октябрьской чумы, то о „революционном народе" уже можно сказать без риска грубой ошибки: если исключить настоящих и потенциальных шкурников и дезертиров-солдат, профессиональных агитаторов, часть „сознательного" и полусознательного городского пролетариата и деревенской допризывной молодежи, остальная народная масса (по крайней мере в местах, где мне довелось проживать) больше всего, конечно, ждала земли и весьма туманно представляла себе будущую волю: „Хай буде республыка – абы цар був добрый..."

При всем том жизнь на местах организовывалась на новых (или почти прежних) началах довольно быстро и – не будь, с одной стороны, фронта, с другой, не перестающих бурлить столиц – могло бы показаться, что все идет к лучшему в обновленном Российском государстве.

Я не буду касаться собственно политической жизни. Едва ли в городе были организованные эсеры – эта местность не была их месторазвитием, зато ячейка РДРП (вернее, БУНДа) безусловно существовала. Что же касается отдела партии Народной Свободы, к которой я тогда себя причислял, он стал действовать только на пороге выборов в Учредительное Собрание. На первом же открытом его выступлении я, взглянув в далеко не переполненный зал, глазам своим не поверил: большинство общеизвестных городских „зубров", во главе с бывшим исправником Иовом Матвеевичем, тем самым, которому во времена манифестаций в 1905 году местные Улисы кричали: „Долой самодержавие, а вы, Иов Матвеевич, оставайтесь с нами", – были налицо... Некоторых – после собрания – я, как секретарь, записал даже в „действительные члены". И то сказать: другой альтернативы у них не было. Конституционные демократы („кадеты") оказались самой правой политической группировкой, официально признаваемой (вернее – допускаемой) только что вполне самовольно и незаконно до Учредительного Собрания объявленной Демократической Республикой... О существовании большевистского Ревкома в городе я узнал только много позже, во время польско-советской войны, когда один из его членов, с которым мы в свое время без конца и довольно остро дискутировали, находясь в „обозе" побеждающих „красных", через верного человечка мне передал, чтобы я с поляками не уходил, потому что меня ждет „большая и интересная общественная работа в городе". Я с поляками не ушел и потому, что не со-

бирался, и все равно не успел бы — тем более, что „верный человечек” испугался и передал мне лестное приглашение после того, как поляки вернулись обратно, а приглашавший, за неделю до вступления его отряда в город, по неизвестной причине застрелился — будто бы от неосторожного обращения с оружием.

Культурно-общественная жизнь городка, несколько приглушенная относительной близостью фронта (тихими летними вечерами до окраин отчетливо доносился „космический” гул канонады) — после освобождения оживилась и даже, можно сказать, расцвела.

Еще в мирное время в городе оформилось в условиях старого режима нечто вроде краеведческого общества, правда, на несколько особых, сугубо православных густопатриотических основах. Душой его был второй священник местного собора о. Михаил Тучемский. Общество реставрировало остатки замка князей Острожских — следы былого расцвета той „третьей Руси”, которую историки называют „Русью Литовской”.

После падения монархии Общество лаицизировалось и его вдохновителем стал весьма своеобразный персонаж, один из тех „чудаков”, которые водились в каждом российском (да и не только российском) городе. Он носил значок какого-то Археологического Института и в своей науке был двоюродным братом Хлестакова; найденный им в ризнице одного из волынских монастырей, в котором будто бы ночевал Петр Первый, шелковый красный плат, с нашитым посредине позументным крестом (может быть, богослужебный „воздух”?), без всяких серьезных к тому оснований он объявил „знаменем Петра Великого” и на видном месте поместил в замковом музее. За эту легкость в археологических мыслях необыкновенную, а также за другие его самоуверенные „оригинальности” — непочтительные обыватели звали его за глаза „Юзей” (полное имя его было Иосиф). После революции Юзя собрал добровольцев из молодежи и с ними раскопал на окраине города так называемые „холмики” — настоящие, хоть и небольшие курганы, вечерний приют влюбленных или запретно распивающих приобретенную в складчину водку гимназистов. Холмы оказались дулебскими погребениями, из которых Юзя извлек между прочим и самый красивый по форме, какой мне приходилось видеть, каменный топор с просверленной для рукояти аккуратной дырочкой. Только потом, уже в Европе, познакомившись с описаниями кропотливой работы настоящих археологов, я понял, что Юзя просто „грабил” погребения, уничтожая при этом всякую возможность в дальнейшем их серьезного научного изучения. Но в то время дилетантски-хлестаковские труды Юзи казались прозябавшим под благодатным Солнцем Освобождения ростком общественно-полезной деятельности. „Показуха” родилась вместе с революцией. Так впоследствии банальные железнодорожные платформы с поставленными на них обычными авиационными моторами,

бурно несясь по рельсам, должны были демонстрировать изумленным поселянам неудержимый галоп социалистического прогресса.

В том же порядке пробуждения общественной инициативы устраивались открытые доклады на разные (преимущественно, конечно, злободневные) темы. Один из них своим названием долго радовал городских контрреволюционных насмешников: на афишах значилось: „Куда идет Россия? По М. Горькому". И зубоскалы отвечали за докладчика: „к чертовой бабушке" (в оригинале значительно крепче и „забórнее") „да еще под горку!".

Похоже, что самую широкую деятельность развернул создавшийся в городе „ОСУВУЗ" – то есть „Острожский Союз Учащихся Высших Учебных Заведений". Поскольку – в принципе – он намеревался объединить всех студентов и абитуриентов города, никаких политических задач он себе не ставил и специализировался в „области культуры, спорта и развлечений". Кроме клуба, он организовал первый в городе футбольный матч и первую выставку картин местных художников, в которой приняли участие и два учителя рисования гимназии и городского училища и многие уже вышедшие из-под их попечения и никогда у них не учившиеся „мастера". Трудно сказать, что выставка была „на уровне", но даже в ней, как „солнце в малой капле вод", отразилась история российской живописи: учитель гимназии (выходящий на пенсию) был строгим (хоть и весьма убогим) классиком, учитель городского училища уже писал размашистыми мазками в сероватых, слегка приглушенных передвижнических тонах, а среди их питомцев многие успели хлебнуть и „декадентской отравы", что дало повод иным критикам говорить, что „ученики превзошли своих учителей", а циникам и острословам – вспоминать Собакевича: „Ты мне лягушку хоть сахаром обсыпь, я ее в рот не возьму".

Лучше всего развернулся в ОСУВУЗе концертно-танцевальный и драматический кружки. Последний, начав с водевилей („Одолжи мне свою жену"), перешел на Островского („Без вины виноватые", „Лес"), Гоголя („Женитьба") и Фонвизина („Недоросль"), умудрился пережить все смены властей и, когда поляки утвердились на Волыни прочно и когда вместе со своей женой, оперной певицей, перешел границу столичный режиссер Улуханов, под его руководством стал опереткой. Но в 1917 году это еще было чисто любительское „самодеятельное" начинание. Иногда вместо спектакля танцам предшествовал концерт. На одном из первых таких вечеров, устроенном, кстати, в пользу раненых, пришлось мне впервые столкнуться с „новыми веяниями": кассирша пришла ко мне как к одному из распределителей с заявлением, что согласившиеся принять участие в концерте офицеры стоявшего в городе запасного полка, бывшие петроградские артисты, требуют деньги вперед, а иначе отказываются петь.

У меня было сильное искушение объявить с эстрады, что такие-то номера из программы выпадают, потому что их исполнители, г.г. офицеры, после „приказа номер первый", переменив кодекс чести, отказываются бесплатно петь на благотворительном концерте в пользу своих же боевых товарищей. Но другие „ответственные" предпочли, поторговавшись слегка с „республиканскими воинами", не поднимать скандала и заплатить им в счет их будущих ран.

Когда один из „протестантов" проревел „Два гренадера" Шумана, заменив из предосторожности где надо „императора" – „полководцем", публика, преимущественно из „имущих" или „бывших" (в первомайском шествии, конечно, участия не принимавшая), поняла это как намек и устроила исполнителю настоящую овацию. Не меньший успех выпал на долю одного киевского студента, бесподобно имитировавшего начавшего тогда приобретать известность (сопровождавшую его, кстати, до эмигрантской могилы во Франции) эстрадного рассказчика Павла Троицкого. И зал, что называется, гремел рукоплесканиями, когда киевский товарищ подражал митинговому оратору, истошно кричал с эстрады (намекая на участившиеся перемены во Временном Правительстве): „Долой, всех долой! А то, если они будут засиживаться, когда же до меня очередь дойдет?!..".

ОСУВУЗ издал даже свой литературно-художественный журнал „Богема" (вышел, правда, всего один номер – издание закрыли события). Он был на уровне более высоком, чем выставка, и откровенно декадентствовал, что весьма увлекало известную часть молодежи (девушки, кокетничая, декларировали: „Шиповник алый, шиповник белый, Один усталый и онемелый..." и т. д., а мальчики клялись по Бальмонту: „Хочу быть дерзким, хочу быть смелым..."). Одно из стихотворений „Богемы", о котором я уже упоминал, настолько точно передавало тональность модной поэзии, что казалось пародией (хотя таковой не была):

Нам равно уважительны и бурьяны и лилии,
предпочтительней вечности – упоительный миг,
мы последние сильные в светлом нашем бессилии,
мы аскеты, уставшие от цветочных вериг.
И святые, и грешные, зло венчая с добром,
мы – цветы запоздалые на лугу мировом...

Курьезно, что „аскеты, уставшие от цветочных вериг...", на поверку оказались здоровеннейшими мужиками, вынесшими все: и гражданскую войну, и эвакуацию, и голод с „тараканьими бегами" в Константинополе, и мойку посуды в ночных кабаках Парижа, и каменоломни, и шахты, и заводские конвейеры, и девственные леса Парагвая и – при всем том – пережили многих своих сверстников, оставшихся в „социалистическом раю", так что в разделе „Свежие

могилы" эмигрантских газет еще недавно можно было прочесть: „На 98-м году жизни безвременно скончался..."

Но „цветы запоздалые" 1917 года были действительно последними: сквозь них тогда летом уже начинал пробиваться чертополох.

X.

...Была украинская ночь, знаменитая украинская ночь, которую Пушкин „уложил" в несколько гениальных строк, а Гоголь развернул в поэму в прозе – ритмическую и пышную, слегка напыщенную и сладкую.

Революция на Земле ничего не изменила на Небе, и месяц, действительно, стоял почти над головой и голубовато-серебристый пепел его мягко ложился на легкую пыль немощеной окраинной улицы нашего городка, с одной стороны которой еще продолжались благоухающие жасмином и матиолой усадьбы пресловутой Хабаровки, где жил всякий чиновный люд, а с другой уже начинались поля, засеянные „васильками и рожью", как выражался один французский потомок, окончивший французский лицей, но не утративший вкуса к родной речи.

Я провожал после репетиции одну из девиц нашей любительской труппы и, как водится, несколько затянул прощанье у ее калитки, и теперь, с богатым багажом впечатлений, не торопясь, мимо двух густо заросших у подножья бурьяном древних дулебских погребальных курганов вышел на дорогу и еще издали увидел, что, двигая перед собой свои тени навстречу мне, подымается группа из пяти как будто взявших друг друга под руки фигур.

Когда они подошли ближе, коренником оказался подтянутый и элегантный, в непривычных, но очень идущих к его хаки желтых сапогах офицер, о котором я знал понаслышке, что он ярый „реакционер" и сноб.

Он вел под руки двух девиц в солдатской форме с коротко остриженными волосами, уже приобретших некоторую известность „доброволиц" из стоявшего в городе запасного полка, а к ним с обеих сторон льнули двое моих хороших знакомых – прапорщиков.

„А-а! Коллега! – (когда все стали „товарищами", студенты перешли на академическое „коллега") – закричали они, когда мы подошли вплотную. – Уже проводили вашу актрису? – (В маленьком городе все знают всё обо всех.) – И в такую ночь вы ее отпустили спать!.. Вот, разрешите, кстати, представить вас нашему прямому начальству..."

Я назвал себя...

Офицер отпустил локти девиц, взял под козырек и щелкнул шпорами.

„Поручик Седов".

Мы пожали друг другу руки.

„А теперь, – продолжал все тот же церемонимейстер, – познакомтесь с нашими лесбианскими..."

„Лесбийскими", – высокомерно поправила одна из девиц.

„„...лесбийскими" серыми героями".

Девицы попытались тоже щелкнуть каблуками, вытянуться и козырнуть, но, споткнувшись на немощеной дороге – совсем не по уставу, – рассмеялись и протянули тонкие, но уже как будто с траурными ногтями, ручки:

„Рядовой Лёля!"

„Рядовой Ляля!"

Поручик – смуглый красивый брюнет – с явным облегчением отпустил локти „рядовых", вынул тяжелый дорогой портсигар из кованого серебра с вензелем, предложил мне папиросу и сам закурил. Некоторое время продолжал я общий разговор. Потом само собой случилось, что прапорщики, прикомандировавшись каждый по сердечному влечению, ушли с девицами вперед, на холмики, а мы с поручиком остались вдвоем.

„Вот захотелось гимназисточкам острых ощущений и пошли в „герои", – не то с жалостью, не то с презрением проговорил Седов, нарочно замедляя шаги.

„А что они, в самом деле лесбиянки?"

„Они все что угодно, только не то, чем должны были бы быть, то есть не героические добровольцы, содействующие поднятию сознания долга и дисциплины разлагающейся армии... Которая, кстати, развалилась уже настолько, что невозможно найти ответственного и смелого начальника, способного, не взирая на всю гражданственную словесность наших трибунов, выставить к чертовой матери и разослать по домам этих потерявшихся в водовороте событий девиц... А между тем с галицийского отступления солдатня не перестает твердить, что японскую войну „их благородия" пропили, а эту с девками (понимай – с сестрами милосердия) прогуляли..."

„Действительно, поговаривали... И пожалуй, нет дыма без огня. Однако сейчас уже создаются настоящие – отборные – ударные части, и я думаю, что в умелых руках они помогут главнокомандующему овладеть солдатской массой..."

Седов вместо ответа безнадежно махнул рукой и, взглянув мельком на часы, остановился:

„А что, коллега, если мы поужинаем вместе? Под лунный свет холодной водки захотелось. То есть подадут нам, конечно, самогон, но за неимением гербовой... Вот и побеседуем с чем Бог послал..."

В единственном ресторане городка было почти пусто. Одни завсегдатаи. Трое молодых офицеров, из рода и вида „тряпичника Володи" („Был я раньше тряпичник, звали меня Володя. А теперь я прапор-

щик ваше благородье"), вместе с девицами, явно только что доставленными, шумно занимали центральный стол зала; у стойки с подчеркнутой гражданской независимостью угощался сознательный солдат из полуинтеллигентов. А в углу – обычные доктор и земгусар-банщик играли в шахматы, и после каждого хода, церемонно чокаясь, пили из чайных стаканов (и даже с камуфляжными ложечками).

Кабинет был свободен. Лакей зажег лампу под романтическим абажуром, принял заказ и, уходя, задержался у двери, деликатно играя салфеткой:

„Тут одна девочка в номере пятом (гостиница была наверху) – очень стоющая, скучает..."

„Ну и пусть поскучает!" – в один голос отозвались мы оба.

Ужин удался на славу. Все дожарилось в точку, а самогон – не из очень вонючих – лег мягко, только взбодрив, но не задурманив.

И сиделось уютно... Прапорщики в зале, играя в студентов, запевали „Быстры, как волны...", а девицы смеялись со всеми возможными кокетливыми колокольчиками в голосе. В общем – веселье там разыгралось.

„Ходит птичка весело по тропинке бедствий", – словно нехотя уронил Седов, наливая еще по рюмке, – хотелось бы мне знать, что эти молодцы запоют, скажем, через полгода..."

„Вы, я вижу, пессимист?"

„Гм... А вы – оптимист?"

„Скорее – да".

„А я вот скорее нет... Я, видите ли, недурно учился в гимназии, и, кроме математики, моим любимым предметом всегда была история. Вдобавок, педагог попался передовой: мы у него читали рефераты и обсуждали всякие проблемы, как большие... В столице, в политехникуме, побывать довелось недолго – мобилизовали, но все-таки кое с кем встречался, кое с кем поговорил, кое что успел прочесть. И вот – все, что говорили книги, и все, во что наивно верили люди, сложило у меня такое убеждение, что революция никогда не кончается так, как предполагают ее начинающие. Впрочем, они только думают, что начинают. Революция – это самое сволочное стихийное бедствие, и так называемые революционеры управляют ею не больше, чем петух горной деревни вызванной его „ку-ка-ре-ку" лавиной... Всякая революция прежде всего пожирает своих жрецов. А те, кого они собираются осчастливить, будут долго вспарывать друг другу животы, чтобы уцелевшие стали жить много хуже, чем до „великих событий". Что же касается пожинающего урожаи благоденствия потомства, то никакой Мартын Задека еще не доказал, что иначе они до благоденствия так и не дошли бы..."

„Не будем, однако, преувеличивать! – поспешил я с поправкой. – Пока еще никто животов не вспарывает".

Седов посмотрел на меня, как мудрый дедушка на бойкого, но глупого внука.

„Революция еще не кончилась".

Хоть и мне самому порой начинало казаться, что события заворачивают „не туды", но я не позволил себе на этом утверждаться...

„Вы верите, что Учредительное Собрание сразу же наведет порядок в развороченной до основания стране?"

„А почему бы и нет, если оно утвердит законные требования народа..."

„А вы знаете эти „законные требования"? „Добились бы, что ли, земельки и воли", – это, голубчик мой, пошловатая эсеровщина, и не более. Плуг революции врезается гораздо глубже в подсознание масс. А там... „Сарынь на кичку", – кричали не так уж давно..."

„Э, вот оно что! Вы, значит, насчет большевиков... Но их ничтожнейшее меньшинство! В переходный период демагогия соблазнительна, потому что предлагает путь наименьшего сопротивления (вернее – наименьшего терпения). Но когда чаяния большинства удовлетворятся законным путем, левые товарищи сами собой впадут в ничтожество..."

„Опять „чаяния большинства"! И что такое сейчас „законный путь". Позавчера, как вы, вероятно, знаете, у нас в городе состоялся грандиозный самосуд: рыбаки, столяры и каменщики из предместий со смертным боем таскали по всем улицам и, наконец, добили на соборной площади трех пойманных с поличным воров (крали на базаре с крестьянских возов, а это и сейчас квалифицированное преступление). Когда какой-то уполномоченный, член какой-то правительственной комиссии пытался напомнить о законе и забрать несчастных, пока они еще дышали, в тюрьму – ему отвечали: „Таперича народное право!" А вы можете мне сказать точно, в чем оно состоит, это „народное право"?"

Нет, я не мог сказать Седову, в чем состоит „народное право". На юридическом факультете такой дисциплины не было. Но сам я тоже наблюдал осуществление этого „права", когда мимо нашего дома толпа гнала по улице этих трех избитых, окровавленных, в лохмотьях изорванных рубашек, уже почти теряющих сознание парней. В их глазах уже было больше, чем боль или страх: была сама смерть. Рядом с ними, с шашкой наголо, с каким-то, я бы сказал, свирепым самодовольством на веснущатом лице шел солдат-кавалерист, с некоторых пор болтавшийся по городу не то в отпуску, не то в дезертирстве. Он же и прикончил обреченных. Я тоже слышал, как обычно степенный кустарь-каретник взъерошился, как голодный волк, когда заговорил о „народном праве". Но я знал продолжение этой истории, неизвестное Седову.

Три парня оказались жителями пригородного села, прихода моего батюшки. Крестьянское общество обиделось на городских и решило

хоронить убитых вроде как народных героев. У отца заказали торжественные похороны с отпеванием, с зажженными паникадилами, полным хором и дьяконом. Во всем этом отец отказать, конечно, не мог. Но этого устроителям казалось мало, и они настаивали, чтобы батюшка сказал соответственное слово. И тут опять его выручил диалектический дьякон: „Что ж вы, люди Божьи, думаете, что проповедь – это грушка? Протянул руку, сорвал и съел! Нет, над проповедью надо подумать, чтоб Слово Божие соблюсти и закон человеческий не нарушить, а вы приходите так, с бухты-барахты! Это ж не митинг, а церковь!" Мужики выслушали хмуро, но удовлетворились паникадилом и хором. Все село было на похоронах...

Больше с Седовым я не встречался. Потом мне сказали, что он ушел в Корниловский батальон.

А через месяц после нашей с ним встречи в город прибыла новая маршевая рота. В ней оказалось немало выпущенных под видом „политических" настоящих уголовников. И крайне „сознательный" полк под их влиянием вышел из повиновения и в качестве протеста против буржуев, торгующих и наживающихся в то время, как солдат гонят на смерть, устроил в городе трескучий погром, с битыми стеклами, пухом перин и, конечно, грабежом и даже пожаром, но без человеческих жертв: ведь „установка"-то была не расовая, а так сказать, социальная, вдобавок, инициаторы этого „эксцесса революции", как настоящие профессионалы, без нужды на „мокрое дело" не шли. В сопровождении возбужденных, порой уже пьяных солдат, такой „маэстро" подходил к очередному, успевшему опустить железные шторы магазину, наклонялся к замку и после малозаметных манипуляций отмычкой подымал штору и начинал грабеж.

Все уговоры и офицеров и штатских ораторов производили впечатления не больше, чем комар на коровьем хвосте, и комиссар города, бывший инспектор гимназии, вызвал комендантскую роту и обратился к ней с пламенным призывом прекратить беспорядки, позорящие нашу молодую свободу... Ускоренным маршем с ружьями наперевес, и лицами, на которых, казалось, было написано: „Умрем за свободу и родину!", рота спустилась в город, достигла обрабатываемых кварталов и, даже не поставив ружья в козлы, присоединилась к погромщикам.

Когда июльскую ночь озарили багровые зарева по-своему понятой свободы, из всех окрестных деревень телеги, как на ярмарку, ринулись в горящий город. Одинокие солдатки, вдовы, гулящие девки и даже отецкие дочки, и даже в обычное время добродетельные жены, за пару туфель, чулки, штуку сукна или другую какую-нибудь хозяйственную полезность, удовлетворяли вышедшие из берегов солдатские страсти где угодно: у заборов, под забором, в подворотнях и даже прямо на мостовой под ногами громил.

Все благоприобретенное сносилось на поджидавшие в условном месте возы... На другой день беспутный полк сдался экстренно вызванной гвардейской коннице, которая, кстати, тоже была не прочь пошалить, но, прибыв на место, убедилась, что овчинка выделки не стоит, и твердо стала на защиту революционного порядка.

А через некоторое время, почему-то задержавшийся на отстоявшей от города на 12 километров железнодорожной станции, отправляемый на позиции эшелон тоже взбунтовался и разграбил соседнее богатейшее имение князя Сангушко, а самого владельца убил...

Так, ленинское „грабь награбленное!” разбудило старинное „Сарынь на кичку!”. Вождь настоящего общественного преображения, конечно, об этом подумал бы раньше, но конквистадору Мировой революции это было по пути. Он готов был отдать половину России, лишь бы вторая „вошла в социализм”. В результате зарезали шестьдесят миллионов и вошли в „номенклатуру”, которую упорно называют социализмом.

Очевидно, вожди именно ее имели в виду и раньше, только не решались это громко сказать... Благодатная весна перешла в грозовое лето и приближалась роковая осень...

XI.

Лукава человеческая память: в ней порой бесследно стирается то, что, казалось бы, гравировалось навсегда, и с поражающей точностью подымаются со дна черт знает каких далеких дней совершенные пустяки.

И вот – как будто это было вчера – видишь голубую утреннюю реку, с кое-где змеящимися над ней струйками рассветного пара, мельничное колесо, окруженное водяной пылью, в которой – в яркие дни – вспыхивают осколки разбитой радуги; на отдаленном берегу за поворотом реки – остатки некогда бывшей рощи: растрепанные бурей, но сейчас почти причесанные расстоянием, не очень частые у нас, северно-русские березки... Чувствуешь запах более теплой, чем воздух, воды и напоминающий о Троице специально речной дух, дух аира, которым под праздник усыпают полы...

И даже следы на сыром и сером песке подстерегавшего на этом месте водившихся в омуте под мельничным колесом колючих ершиков знакомого рыболова, и даже не подлежащие передаче вечерние ощущения от похожей по фигуре на взволнованную гитару не слишком недотрожной его племянницы (с которой немножко пошутил), – а вот то, что происходило в нашем городке после октябрьской контрреволюции и до прихода немцев в 1918 году – решительно забыл...

Помню только, как узнали мы, что несчастного Временного Правительства больше нет...

Было уже довольно поздно (во всяком случае, далеко за десять), когда после одной из наших очередных постановок мы, „актеры" и организаторы, предоставив нашим „гостям" плясать и услаждаться буфетом, как это водилось, „до зари", веселой гурьбой спускались по привычной улице в единственно приличный в городе ресторан поужинать (с самогоном) и обменяться впечатлениями и планами на будущие спектакли.

На перекрестке нас остановил патруль сильно вооруженных солдат и потребовал документы. Убедившись, что все мы студенты, начальник (не знаю, как он именовался, знаков различия на нем не было) предложил нам вместо ужина немедленно разойтись по домам и, если встретятся новые патрули, сказать, что мы были уже проверены (но документы, конечно, предъявить). На вопрос – что же

именно случилось? – начальник любезно сообщил, что Временного Правительства больше не существует и вся власть перешла к Советам...

Как жил после этой ночи наш городок, решительно не помню, но думаю, что корни такой забывчивости надо искать не в сенильном самоуничтожении архивов сознания, а в том, что на данном участке бывшей Империи Российской очередные власти проносились как облачные тени над сонным прудом: Временное Правительство, таинственный период „всей власти Советам”, немцы и гетман Петлюра, первые большевики, снова Петлюра, вторые большевики, первые поляки, третьи большевики, вторые поляки и, наконец (уже после моего отъезда за границу), снова большевики, вторые (гитлеровские) немцы и окончательные большевики.

В таком круговороте „потерять север” нетрудно. Так что никак не могу сказать, когда (при первых или вторых большевиках) именно весьма почтенная и уважаемая дама одного из самых богатых семейств в городе, шатаясь под непривычной тяжестью, обливаясь горькими слезами, вкривь и вкось ступая своими „парижскими” туфлями, вместе с уважаемым всеми частным поверенным, угрюмо покорившимся судьбе, таскала доски с лесопильного завода в не очень отдаленные, по счастью, казармы. Таскала не столько для будущего уюта красных бойцов (их, кстати, в нужном количестве и не было), сколько во исполнение ленинского пожелания привлечь всех буржуев к общественно-полезной работе и – если составленному из них отряду на предполагаемой стройке негде будет жить – заставить их копать себе землянки.

На этот раз дело до „стройки” не дошло: петлюровцы, собравшись с силами, вышибли временно из города конную красную гвардию, и мадам Зусман (или Френкель, уже не помню, которая) могла вернуться домой (ей, слава Богу, было где жить и без ильичевских землянок), тяжелые доски самодеятельно распределили между собой окрестные обыватели. Также не могу утверждать, что именно в первый большевистский наскок (а не позже) захваченных в гражданских клубах завсегдатаев, повесив им на грудь плакат „Бездельник, Картежник”, с барабанным боем, чтобы привлечь общественное внимание, водили по городу. Думаю все же, что это происходило не сразу же после октябрьской революции, так как хорошо всем известный анекдотист и весельчак доктор Бать был в одной рубахе (то есть без пиджака и жилета) и босой. Костюм далеко не осенний.

Все это пока таилось в неисповедимом будущем (или в скрытом от нас столичном настоящем). В нашем окраинном и захолустном городке еще отразится кровавая звезда коммунизма. Ближайшая станция железной дороги находилась в двенадцати километрах, так что поток едущих „делить землю” дезертиров нас неощутимо миновал, а поскольку до линии фронта было рукой подать и мир с Ук-

раиной был подписан в Брест-Литовске 9 февраля (а с Москвой 3-го марта), немцы пришли к нам довольно скоро, после того как „серые герои" проголосовали ногами за Ленина.

Не слишком веселым утром ранней весны я вышел в город и, свернув на главную улицу – остолбенел: причалив к тротуару, чего-то ожидал (или просто отдыхал) большой немецкий обоз. Флегматично и спокойно, как будто у себя дома, довольно пожилые немцы в бескозырках и в зеленоватых серых своих шинелях возились возле аккуратных повозок, что-то подвязывая и подтягивая, поправляя добротную упряжь добротных своих лошадищ. „Герр фельдвебель", прислонившись к телеграфному столбу, с явным наслаждением курил расписанную фарфоровую трубку с длинным чубуком и одними глазами улыбался на те шутки, которыми перебрасывались солдаты по поводу глазевшей на них толпы.

Все это было так же унизительно и больно видеть, как и наблюдать два года перед тем презрительную усмешку полулежавшего на мешках реквизированной для военных грузов крестьянской телеги пленного австрийца, покусывавшего соломинку и глядевшего на отступавший „с одними палками" русский пехотный запасный полк. Уже тогда я почувствовал, что государственный корабль наш посадит на смертельные рифы не революционная буря, а полная и жалкая неспособность стоявших у его рулевого колеса.

После великого поражения 1940 года многие взрослые французы плакали, глядя на идущие в плен, всего два десятилетия тому назад победоносные свои войска. Но в 1918 году у нас в городе слез не было видно: революция уже начала отвращать, и у многих назревала своя интерпретация кавуровского девиза: „Хоть с чертом, но против анархии".

И все-таки – в это невеселое утро у многих смотревших на вступление „союзников" были хмурые перекошенные лица, и никому в голову не приходило – как это нередко случалось в 1941 году – подносить немцам цветы или встречать их „хлебом-солью".

Но надо отдать им справедливость: еще не считая себя „избранным народом" и зная, что на западном фронте фатерланду приходится туго, они были рады из полуголодной Германии попасть в тогда еще вполне сытую Украину и делали все возможное, чтобы не слишком мозолить глаза аборигенам. И даже больше – быть для них приятными: по воскресеньям их военный оркестр неизменно приходил на площадь перед Городской управой и „давал концерт".

А когда совсем потеплело и открылся, как теперь говорят, купальный сезон, – как-то на широком лугу, отделявшем собственно город от речки, показались идущие гуськом, по два в ряд, немцы. Передний нес нечто вроде римского штандарта, на котором в ту пору писалось название и номер легиона и над которым утверждался его скульптурный „тотем". Немцы явно направлялись к реке.

В те легендарные времена еще не было ни принципиального нюдизма, ни в разной степени приближающихся к нему „бикини". На двух песчаных заводях, разделенных выступом берега делающей широкий поворот реки, традиционно купались на дальней – дамы, на ближней – мужчины. Последние (обычно перекрестившись) плюхались в воду, гонялись на „саженках", плескались у берега или просто стояли и сидели, глазея на природу, греясь на солнце. Все – только в костюме Адама до грехопадения (то есть даже без фигового листочка). „Дамы" же делились на две категории: более молодые, смелые, самоуверенные, рожденные для того, чтобы вносить „перчик" в мужскую жизнь, входили в воду и выходили из нее, как пенорожденная Киприда, во всей своей естественной прелести, без всякого кутюрного добавления, а более взрослые (или переросшие), менее в себе уверенные, скрывали свои целюлиты под целомудренной купальной рубашкой.

На значительном от этой „бани Ренуара" расстоянии неизменно лежал на лугу и, как подводная лодка перископ, подымал над травой свой отличный бинокль всем известный и даже „интеллигентный" человек. К его присутствию „прелестницы" привыкли и обращали на него внимания не больше, чем на тень ивы или вербы. Да и сам он так давно занимался этим спортом, что, вероятно, уже затруднялся даже для себя определить, чем является его луговое бдение: потерявшей первоначальный импульс традицией или пусть нездоровым, но живым любопытством...

Немцы между тем примаршировали к берегу. Господин „фельдвебель" походил взад и вперед (не приближаясь, впрочем, к дамам больше необходимого для серьезной разведки расстояния) и на месте, достаточно отдаленном и от мужчин, и от женщин, воткнул в мягкий берег упомянутый кол с прибитой к нему доской, на которой значилось „солдатское купание" (по-немецки). И как по команде, все немцы стали раздеваться и плюхаться в реку. Потом так же гуськом ушли, оставив на берегу свою отметку.

В воскресенье и праздничные дни они в самом скромном количестве, степенные и серьезные, гуляли по городу, не вооруженные, но всегда парами, весьма почтительно уступая дорогу старикам и женщинам.

К моему приятелю, у которого – как водилось – был отдельный павильон из шести (или восьми) комнат (его рано умерший отец был преподавателем местной гимназии, а мать – директрисса частной женской гимназии), вдруг пожаловали четыре воина с полной походной и прочей выкладкой в сопровождении пятого – вроде как бы переводчика.

Уверенный, что он говорит по-русски, последний бойко „выдавал" курьезную смесь карпаторусского, чешского, словенского и еврейского, которая при случае могла бы сойти и за древнеегипет-

ский. Он предъявил хозяйке дома (матери приятеля) ордер городской управы на реквизицию у нее одной комнаты для вышеупомянутых Нибелунгов. Хозяйка, немного говорившая по-немецки, пожала плечами: „Что же делать, располагайтесь, где хотите". И показала им весь дом. Немцы сразу же отвергли столовую и гостиную, а также комнату хозяйки, ее дочери, как и комнату двух сыновей. И выбрали ту, которая, по их мнению, да и в самом деле, меньше всего должна была стеснить хозяев: сравнительно небольшую угловую, где зимой обычно помещались квартиранты гимназисты. У этой комнаты был прямой и непосредственный выход в прихожую и во двор, и одно большое окно. Немцы дружно ее одобрили: „Аллес ист гут!" И несмотря на то, что в ней (как сразу же указала им хозяйка) больше двух кроватей поставить было невозможно, незваные гости еще раз повторили: „Аллес ист гут!" И действительно, все оказалось вполне „гут": квартиранты построили двухэтажные нары и были вполне довольны положением. Они старались как можно меньше показываться в саду и на все решительно вне отведенного им помещения спрашивали разрешения у хозяйки. Заметив, что под яблоней сгнивают падающие с нее яблоки, которые никто не подбирал, они попросили позволения собрать их, если никто другой ими не интересуется.

В конце концов между обитателями дома и угловой комнаты наладились отношения вполне сносные, особенно после того, как хозяйка, у которой, кроме откармливаемого к Рождеству уже напоминающего средней руки бегемота кабанчика, водились куры, на более чем корректную просьбу немцев продать им несколько яиц, подарила им полдюжины. Но эти куры, кроме яйценоскости, обладали, как и все куры, впрочем, способностью привлекать жадное внимание гнездившегося где-то на недалеком заросшем, как лес, старом кладбище хорька. Младший сын, мой приятель, несколько раз подмечал в сумерках ускользающую в щель забора характерную тень самого хищного в мире зверя и однажды, на рассвете, заслышав взволнованное куриное клохтание, схватил положенное ему под елку в незабвенные годы ранней юности монтекристо, вышел на крыльцо и, приложившись, „ударил" (и промазал, конечно) по вертевшемуся у заборной щели хвосту виновника всей тревоги.

Боже, что тут произошло!

Мгновенно на крыльце оказались все четыре немца с винтовками наперевес и в полном боевом снаряжении, как будто они в нем и спали. Увидев знакомого юношу с полудетским ружьем в руке, несколько успокоились и стали спрашивать – в чем дело?

Приятель не то что растерялся, но все-таки, чувствуя себя и глупо, и неловко, при всем старании никак не мог найти во всем преподанном ему гимназическим немцем Карлом Ивановичем словаре

никакого хорька и заменил его эквивалентной лисицей. Вышло нечто вроде: „Фукс эссен хане!"

На слушателей это произвело впечатление не меньшее, чем рассветный выстрел под их окном. Они схватились за головы (вернее, как пишет по другому поводу А. Толстой: „Головы их пошли кругом...")

„В самом центре города „фукс"! О, майн Готт, что за страна!" И даже когда они снова расположились по своим нарам, то сверху, то снизу слышалось: „Фукс!! О, майн Готт!"

...А в общем, по сравнению с теми представителями „высшей расы" – коричневыми большевиками, с которыми пришлось встретиться потом, через два десятка с лишним лет – это были скорее добродушные сентиментальные бюргеры, не столько думавшие о войне или о Западном фронте, от которого Бог их спас, сколько о том, чтобы как можно больше продуктовых посылок отправить жене в голодающий фатерланд.

Но Украина тогда еще была богата, и опять же, они за все платили.

XII.

„Широка страна моя родная", и вот именно поэтому не вполне соответствуют истине знаменитые строчки Маяковского о всей России, скрученной революцией в один вихревой столб.

Так было в столицах, в больших городах, промышленных центрах, но в некоторых захолустьях и местах отдаленных (например, в Маньчжурии, где дореволюционный быт дожил до Второй Мировой) мало что по существу изменилось.

То же (хоть и не до Второй Мировой) было в нашем маленьком городке на оккупированной немцами Гетманской Украине, откуда до столицы, Киева, считалось пять часов езды поездом, и первая железнодорожная станция находилась в двенадцати километрах.

Даже гражданский клуб продолжал существовать в прежнем виде, и в нем по вечерам собирались те же преферансисты, только бывший исправник, Иов Матвеевич, был в штатском и в игре стал более рассеянным и менее вспыльчивым.

Все знали, что Гетман – это только исторический антракт, но старались не думать об этом. И опять же – кто верил тогда в долговечность большевиков? Даже они сами, по свидетельству весьма плохо кончившего Льва Давыдовича, все время „держались за дверь", чтобы в случае, если придется уходить, – как можно крепче прихлопнуть ею пальцы входящего.

Кроме того, поскольку прервалась настоящая связь между севером и югом, никто (за исключением, может быть, тайных ревкомов) не знал толком, что именно происходит „там", то есть на остальной территории бывшей Империи Российской. Кое-какие слухи о большевистских безобразиях уже ходили, но им не хотелось верить, в особенности тем, кто без скрежета зубовного встретил февральскую „зарю"...

В нашем маленьком городке и раньше намечались, но после революции отчетливо сложились три, друг для друга почти непроницаемые, как монады, общества: российское (так называемые малороссы, интеллигентные евреи, чехи, немцы из колонистов, обрусевшие поляки и т. д.), советское – вокруг Совета солдатских, рабочих и крестьянских (как называли злопыхатели – „собачьих") депутатов, в котором больше всего было рабочих и мелких ремесленников, преимущественно из еврейской бедноты, и, наконец, самое

немногочисленное, к которому все прочие относились иронически – „щиро украинское".

„Союз Учащихся Высших Учебных Заведений", уцелевший, несмотря на смены режимов, принадлежал к первой группе. Не будучи политическим по замыслу, понемногу он таковым стал, так как своим существованием, а в особенности своими проявлениями (спектакли, вечера, доклады на „российской мови"), вносил поправку в самостийную легенду.

Как было уже указано, оккупанты-немцы вели себя по отношению к „союзнику" весьма корректно, в частности, никак не вмешивались в обычную жизнь города, по существу, почти дореволюционную. Гетманские власти тоже не слишком нажимали на „щирость" и нашей „культурно-просветительной активности" не мешали.

Уже не припомню, бывали ли они на наших спектаклях, концертах, вечерах, балах, но немцы на них бывали. В особенности офицеры-кавалеристы, носившие свои фуражки, как наши гусары: с мягкой (валиком) тульей, слегка оттянутой назад. А один, как говорилось тогда, весьма „тонный" („пульный") улан даже впал в настоящий роман высокой нежности с русской девушкой из нашей „труппы". Не очень красивая, она обладала, кроме застенчивости, огромными черными глазами и голосом-двойником Вари Паниной и, выступая на наших вечерах, пела „Сияла ночь", „В одни глаза я влюблена" и прочие широко известные вещи из репертуара знаменитой цыганки – всегда с неизменным и шумным успехом, от которого стеснялась еще больше и выходила на „бис" только по требованию режиссера.

Когда она со своим неизменным рыцарем попадала в веселую российскую компанию, ее улан тоже пел и тоже цыганский романс „Ямщик, не гони лошадей", что, кстати, получалось у него неплохо. При всем этом никакой „коллаборации" в общественно-политическом смысле у нас не было. Если мы не могли ненавидеть немцев за то, что наша армия, поддавшись „лихому уговору" марксистского „разбойника и вора", оставила фронт, то все-таки между нами и ими была проигранная война и многие друзья и родные, знакомые и незнакомые, сверстники и несверстники, оставшиеся навсегда в Мазурских болотах или Карпатских долинах. И затем – похабный Брестский мир, когда немцы, вместо того, чтобы, предугадывая будущее, разгромить еще никакой реальной силы военной (за исключением „иностранных легионов": латышей и прочих „интернационалистов") не представляющие большевистские скопища, и проигрывая войну на Западе – выиграть прочный и дружеский мир на Востоке, – поспешили урвать жирный кусок из бока доведенной ленинской контрреволюцией до предельной беззащитности страны.

Правду сказать, – в то время, о котором идет речь, никакой базы для серьезного сопротивления оккупантам не было. О Добрармии мы пока слышали очень мало и очень смутно. Но все-таки эти добродушные пожилые бюргеры, каждый праздничный день добросовестно дующие в свои геликоны перед зданием Городской Управы, неизменно бередили незаживающую душевную рану.

Тайный „ревком" безусловно работал над разложением оккупантов изнутри, но помимо недостаточного знания языка (вернее, недостаточного сходства языков) – мы не были марксистами, а „либеральная" пропаганда едва ли могла иметь среди немцев успех: свобод у них до войны было много больше, чем у нас.

Один из нашей банды беспечных и, с точки зрения обывательской, слегка беспутных эстетических – или просто фактических – шалопаев, несколько старше нас возрастом (и лысиной) – письмоводитель нашей гимназии, за степенность и медлительно-вальяжную речь прозванный нами „полковником", сделал индивидуальную попытку найти выход для своей патриотической обиды: приручил одного явно стремящегося к сближению с россиянами капрала Людыгу (как будто бы польского происхождения, но не знавшего ни одного польского слова) и стал – как он выражался – „под грубой поверхностью прусского милитаризма будить уснувшее славянское сознание". И к нашему величайшему изумлению – преуспел.

Пресловутое „самосознание" проснулось так бурно, что мы даже перепугались: как-то придя на нашу дружескую пирушку вместе с „полковником", Людыга недооценил возможностей украинского самогона и, войдя в славянский раж, хлопнул стаканом об пол (почему-то все иностранцы считали, что в России хороший тон требует бить стаканы) и стал истошно орать: „К черту Вильгельма! К черту Короля Баварского!"

Хоть это и происходило в отдельном кабинете, но в ресторан, в поисках „своих", заходила иногда немецкая военная полиция, а Людыга орал по-немецки, и это своеобразное „Гей, Славяне!" скорее походило на результат большевистской пропаганды, чем на пробуждение „национального сознания". Сконфуженный „полковник" поспешил увести своего прусского – оказавшегося баварцем – протеже подальше от ресторанной трибуны.

Если не более серьезной, то все же грозившей нам весьма серьезными последствиями, была вторая попытка „организации сопротивления". Дело в том, что к очень заметной в маленьком городе группе весьма независимых и не скрывавших своих чувств молодых людей давно присматривался и на обычном ими организованном спектакле (или концерте) у буфетной стойки „пришился" и завязал разговор „некто в хаки", безо всяких внешних знаков различия. Это был уже выборный командир какой-то инженерной части (не то автороты, не то железнодорожного батальона), временно – в ожидании репат-

риации в РСФСР – разместившейся в казармах всегда стоявшего в городе до войны и в октябрьской пурге без вести пропавшего полка.

Полуинтеллигент, с той тяжелой и грубой хитростью, которая тем меньше замечается, чем человек кажется проще, он отрекомендовался как „эсер-максималист", после революции вернувшийся из ссылки и вступивший добровольно в армию. Когда зашел разговор об общем положении, „максималист" выразил возмущение, что народ так покорно принял „немецкое иго".

Слушатели насторожились: „Так что же делать?"

„Максималист" многозначительно помолчал и как будто неохотно процедил, что здесь не время и не место для серьезных разговоров, а если мы хотим, то не сразу всем скопом, а по одному, по два можем прийти послезавтра к нему в казарму часам к пяти пополудни, сказать дневальному „вещее" слово (если не изменяет память – „Ангара") и попросить провести к командиру. Тогда-де и поговорим по-настоящему.

Не говоря уже о том, что сходившихся поодиночке или парами разными коридорами – дневальный, услышав „вещее слово", вводил пришедших в здание и у лестницы на второй этаж уже со своим „вещим словом" („Омуль") передавал нас новому дневальному, и тот с лицом неподвижным, как маска, наверху с новым паролем („Панты") поручал гостей третьему, уже доводившему до дверей комнаты, в которой ждал командир. Вся установка действовала, как хорошо выверенные часы, и глубоко впечатляла кандидатов „сопротивления".

Когда все собрались, „эсер-максималист" произнес краткую речь, в которой указал готовой к жертвам молодежи, что в таком деле надо руководиться не настроением, а рассудком, и предложил каждому по очереди высказаться на тему – что именно и как именно надо делать.

Из всех героических предложений на всю жизнь запомнилось ставшее впоследствии у нас нарицательным для всякой глупости предложение: с задней площадки поезда, когда последний вагон уже перейдет на другой берег, бросить на мост мощную бомбу. Остальные, кроме мостов, предлагали взрывать немецкие склады, обозы и даже казармы. Беспощадно раскритиковав „заднюю площадку", „максималист", в общем, с предложенными объектами нашего воздействия, в основном, согласился. По его мнению, нам нужны будут не бомбы, а пироксилиновые шашки: и действенней, и меньше опасности для исполнителей. Открыв ящик стола, он достал некий предмет кубической формы и провозгласил: „Вот это пироксилиновая шашка!"

Все спешно придвинулись к столу, чтобы получше посмотреть.

„А это Бикфордов шнур!"

Заговорщики тесной кучей рассматривали и Бикфордов шнур.

„Вы вкладываете шнур в специальное отверстие в шашке... (все на всякий случай спешно отодвинулись подальше) ...и поджигаете его. Чем больше длина шнура – тем, естественно, дольше ждать взрыва. Каждый раз надо точно рассчитывать время" (все, словно петух на меловую черту, проведенную по его клюву, как зачарованные смотрели на шнур, довольно короткий, кстати).

„Итак, – спрятав шашку в тот же ящик стола, продолжал демонстратор, – вот и вся ваша будущая техника. Но, чтоб иметь возможность ее применить, нужна большая подготовительная работа. И прежде всего нужны большие деньги... Не говоря уже о стоимости оборудования и передвижений в командировках – нужны будут и взятки, и прямой подкуп. Следовательно: откуда взять деньги?"

Мы все молчали, но предложивший „заднеплощадочный проект" отличился еще раз: он „выдвинул" идею „благотворительных вечеров", весь чистый доход с которых поступал бы в кассу организации.

„Максималист" посмотрел на него, как орел на ползающую в его гнезде божью коровку.

„Когда хотят серьезно работать, – сказал он, обращаясь ко всем прочим, – нужно и говорить серьезно. Нужны большие деньги и сразу большая сумма, чтоб в самом начале не сесть на мель. Я предлагаю „экс"... Вы знаете, что это такое?"

Конечно, мы знали, что это такое, однако... мы не были ни эсерами, ни максималистами... Но наш „водитель" как будто и не заметил нашего смущения. „Известно, что Збигнев Петрошевский почти на пороге революции за царские золотые продал свое имение и, не доверяя банку, держит их у себя. От людей, которые у него бывают, нужно возможно точнее выведать план его квартиры, дни и часы, когда он ходит в клуб и когда оттуда возвращается. Его лакей глух и спит наверху в чердачной комнате. Конечно, лучше было бы знать, где его „тайничок". Но выдумки людей в этой области всем известны. А если есть запоры – это тоже не неприступная преграда. Важно, чтоб хозяина не было дома... Не на „мокрое" дело идем..."

Пикантность была еще в том, что Збигнев Святославович был наш общий добрый знакомый, неизменный посетитель наших спектаклей и буфета. И от одной мысли забраться ночью в его квартиру и ее грабить – даже для того, чтобы взорвать все мосты на всех реках и поставить немецкий экспедиционный корпус в очень бедственное положение – мутило в желудке.

Все мы плохо спали этой ночью, а автор „заднеплощадочного проекта" потом признался, что ему все время снился прокурор.

Конечно, на второе свидание мы не пошли. Вскоре „эсер" репатриировался, чтобы как „социально-близкий элемент" занять солидный пост в штабе мировой революции. Это был под видом политического выпущенный после февраля на свободу большой уголовник.

Между тем наступила осень. Еще в 1917 году, предчувствуя всякого порядка затруднения, я перевелся из Санкт-Петербургского университета в Киевский, и из-за событий потерял год. И вот собрался в Киев, чтобы записаться на новый семестр. Собрался довольно глупо: немцы проигрывали войну и переживали революцию. Не по-нашему, правда, но все ж революцию. Белые и Петлюра двигались на Киев. Гетман дышал на ладан, если не физически, то политически. Об этом всем как следует я узнал только на месте, но на всякий случай пошел в университет и прежде чем в академическую канцелярию, помимо прямой своей воли, попал на сходку в каком-то саду рядом с университетом (именно рядом, а не напротив). Участвующих было много, и все студенты. Говорили и кричали, как на митинге в 1905 году. Насколько я понял, дело шло об освобождении арестованных за политическую работу товарищей.

Когда страсти достаточно разгорелись, толпа вывалила на улицу и пошла мимо университета. Передние запели „Вихри враждебные", появился красный флаг. Когда дошли до перекрестка, из боковой улицы выехал бронированный гетманский автомобиль с офицерским патрулем и выпустил автоматную очередь.

Все бросились врассыпную. Я с моим знакомым и с другими, совсем незнакомыми, бежал вниз по какой-то улице (Киева я не знал), необычайно уютно обсаженной деревьями, и думал, что в этом городе чудесно сочетались прелесть столицы и прелесть провинции. Я совсем не боялся и потому, что вслед нам не стреляли, и потому, что еще никогда не слышал свиста пуль над головой, а главное – не видел его последствий.

Когда все успокоилось, мы с товарищем пошли на место происшествия. Пешеходы там сновали как будто как обычно, но были и стоявшие по двое, по трое и явно обсуждавшие то, что произошло.

Мы присоединились к двум бывшим в первых рядах демонстрации студентам и слушали их рассказ. И в это время кто-то меня потянул за рукав. Я обернулся и увидел, как говорили в старину, „уличного мальчишку" (или Гавроша, как сказали бы в Париже). В кепке с козырьком на боку над суровым, почти взрослым лицом, с непередаваемым выражением он сказал мне: „Посторонись, а то штаны замараешь..."

И указал глазами вниз.

И я увидел, что каблуки мои стоят в луже крови...

Когда, возвращаясь в свой город, я штурмовал переполненный вагон, вместе со мной пытался влезть и молодой немец, очень здоровый, очень ладный и очень – по-хорошему – солдатский, с крепко, по уставу, прилаженной и сидящей на месте военной „сбруей" и довольно большим чемоданом, кожаным, явно офицерским: герр лейтенант ехал в первом классе, а его денщик пробивался в третий.

Всякого порядка люд, с трудом, но все же потеснившийся для меня, смыкался стеной перед ним. Но он, совсем одинокий, в чужой враждебной стране, ничего не понимающий и не способный дать себя понять, не уступал и, прямо по-львиному рыча „Херраус!", не улавливая смысла сыпавшихся на него со всех сторон криков и замечаний („Довольно! Кончилось ваше время! Шпарь пешком в свой Берлин, а то французы раньше тебя там будут!"), одолевал противодействие почти по сантиметрам, – и влез все-таки на площадку... Когда поезд тронулся, стоявший рядом, почти плечом к плечу, в потрепанной шинели со споротыми погонами, по всей видимости, бывший хороший строевой российский солдат, как-то по-особому посмотрел на этого одинокого, будто Андре на северном полюсе, иностранца, перед которым был еще очень далекий и неверный путь на его побежденную и голодающую родину, с революцией, никогда и никому не принесшей счастья, и безжалостной неизвестностью личной судьбы, – когда через час пришла пора ему слезать, – тронул немца за плечо и указал ему на свое более удобное место. Немец сначала изумленно посмотрел, потом, поняв, хорошо улыбнулся и, сказав „данке шен", передвинул свой чемодан.

Тогда пожилой и больше всех кричавший усач, похоже, лавочник или подрядчик, довольно зло бросил солдату: „Што ж ты мне не уступил, а врагу уступаешь?"

Солдат уже со ступенек ответил: „Мы с ним в окопах гнили, а ты с жинкой перину мял!"...

XIII.

С концом Гетмана и немецкой оккупации и в нашем „медвежьем уголке" пошел на убыль тот „николаевский" быт, который, как и царские деньги (500-рублевые „Петры" и сторублевые „Екатерины"), долго хранился на дне материальных и „духовных" обывательских кубышек.

Такие глаголы, как „посадили", „ликвидировали", „выпустили" – пока до нас еще не дошли и употреблялись едва ли чаще, чем при „проклятом самодержавии". И когда глубокой ночью человека и гражданина будил грохот проезжающего по булыжнику грузовика, он с произнесением слов, которые обычно не украшают сиянием святости, без всякого трепета духовного и физического („за кем приехали? где остановились!!") поворачивался на другой бок и с аппетитом досматривал прерванный было сон с участием хорошо упитанной соседки в предельном декольте.

Перемена строя и даже государственности (РСФСР на УНР) произошла в этот раз действительно, как во сне: вечером был вроде как Гетман, утром уже Петлюра. Город был занят, что называется, без единого выстрела – желающих жечь порох не оказалось.

Правда, в последние дни Гетмана комендант города (уже не помню, как звучал его титул на „ридний мове") мобилизовал всех бывших офицеров, не приглядываясь к их национальности, и разместил их в пустых казармах потонувшего в грозе и буре революции „родного" полка. Но вооружения у мобилизованных, в общем, не было, да и желания пускать его в ход тоже. Наиболее инициативные и сорви-головы под покровом ночной тьмы растаяли в мировом пространстве. Менее инициативные (или более дисциплинированные) остались в ожидании чего Бог пошлет. Появившиеся утром петлюровцы взяли их, что называется, голыми руками и после, в общем, незначительных „утеснений" распустили по домам. Но не всех...

Через день уходивший на фронт (оказывается, он был и на западе – с поляками, и на севере – с большевиками, и на юге – с белыми) „курень козакив" в первом ряду гнал (или уводил с собой) четырех из сидевших в казарме офицеров. Как на зло, это не были ни особенно боевые, ни „ворожие до уряду" (враждебные строю), но все более или менее с „чинами". Они старались (в особенности, перед этим „мужичьем") держаться достойно, но аура смертной тревоги окру-

жала их нарочитую подтянутость и выдержку. Вольные или невольные (то есть, случайно мимо проходившие) зрители думали, что их уводят в какую-то центральную тюрьму или лагерь, и волновались мало, не сознавая, что ветер истории уже переменился, но пока, словно в „Украинской ночи" Пушкина („Полтава"), почти не ощущается. И лучшее доказательство тому, насколько мало трепетали листы обывательских душ, показал один сравнительно молодой, в малопоношенном полушубке, военной форме без знаков различия и папахе слегка набекрень среднего роста господин, который совершенно спокойно и безразлично пробирался сквозь толпу зевак в обратном направлении к движению отряда, как будто не замечая не слишком стройно шагающих почти рядом „козакив". Но они его заметили: из рядов выскочил чубатый в ватном крестьянском „куртике" парень с ружьем наперевес и заорал: „Хлопци! Та це ж наш млыновський!" (то есть, очевидно, бывший каким-то начальником в Млынове). Окруженный со всех сторон упершимися в него винтовками „млыновський", даже не пытаясь объясниться, с удивительным хладнокровием стал в ряд „обреченных" и сразу попал „в ногу".

Зрители разошлись с разными впечатлениями: для интеллигентов и полуинтеллигентов – рядовые с такой легкостью и без указания командира ломающие строй – это была еще не армия, а банда. И уводить, хотя бы и виновных, неизвестно куда и неизвестно зачем – не правосудие. Более простые, не развращенные науками, но проработанные, пусть несовершенным, но все же правовым порядком старого строя, – поняли, что и Петлюра еще не конец и что настоящий шурум-бурум только начинается...

К вечеру в городе стало известно, что арестованные далеко не ушли: в шести километрах от города, на железнодорожном мосту (поезда не ходили) их всех спиной поставили к низкому парапету и „кончили"... Очевидно, командиры рассудили по поговорке: один залп и концы в воду – ни могил, ни вещественных доказательств.

Но пятый пленник, попавшийся из-за дерзкой самоуверенности, еще раз показал, что он человек незаурядный.

Как шериф в ковбойских фильмах, всегда стреляющий на одну десятую секунды раньше бандита, – он, стоя у парапета, за десятую секунды до роковой пули рывком перебросился назад в незамерзшую из-за течения реку и поплыл к недалеким густым камышам. ‚Козаки", сначала решившие, что все пятеро – мертвые и полумертвые – пошли под лед, взволновались только, когда увидели, что пятый уже почти подплывает к камышам, и открыли по нему беспорядочную стрельбу. Пули градом ерошили воду, буравили прибрежный ледок, а беглец тем временем вошел в камыши и скрылся.

Так как ни лодки, ни бревна, способного держать на воде человека, нигде не было, дав на всякий случай несколько залпов по камышам, „козаки" после краткого митинга решили, не задерживаясь,

продолжать свой боевой путь, тем более, что беглец в мокрой одежде на морозе, даже если ушел от пули – едва ли далеко ушел. (Что похоже на правду: больше о нем никто никогда не слыхал.)

После этого трагического прелюда петлюровцы повели себя весьма скромно. Они знали, что в так называемой городской элите господствовали пророссийские, а в окрестных селах, в крестьянстве – скорей пробольшевистские настроения, и не нажимали на „самостийников", в смысле кузькиной матери по отношению к прочим. Не трогали даже явно „ворожьих до уряду" (не сочувствующих строю), если только они сами не лезли на рожон. Хотя, при случае, ставили точки над своей „самостатностью", но редко и умеренно. На многое им приходилось поневоле закрывать глаза. Хотя бы на то, что школьных учебников на „мови" не было и преподавать приходилось по старой российской программе. В частности, поскольку мне дорогу в университет перерезал фронт, – я стал народным учителем и работал над русификацией подрастающих поколений: к величайшему удовольствию и детей, и родителей делал постановки в лицах крыловских басен, после которых, когда дети расходились, начинались танцы и самогон для взрослых. Прожив три года в Петербурге, я почти утратил хохлацкий акцент и передавал опыт своим питомцам, так что лисица и ворона, осел и соловей, кукушка и петух изъяснялись у меня на настоящем российском „имперском" языке.

В общем, как власть, петлюровцы были одними из самых терпимых. Может быть, поэтому, несмотря на невеселые вести с фронта (а может быть, благодаря им), в эту зиму в городе веселились немало, причем с обеих сторон „баррикады". Терпимость в этом смысле превышала всякое современное понятие о ней. Когда Степочка Мелнык, адъютант коменданта, прапорщик военного времени из народных учителей, парень мирный и безответственный, весьма тянувшийся к нашей бесшабашной студенческой „российской" банде, – с другой стороны улицы (то есть во всеуслышание) кричал нам: „Хлопци! Приходьте завтра в нашу „Просвиту"! Буде что та закусыты, будуть таньцы и дуже гарны дивчата!" – мы так же громогласно ему отвечали: „Ты опупел, Степочка! Не дождешь, чтоб мы в твою „Просвиту" пришли!"

Степочка безнадежно махал рукой – неисправимые сукины дети, дескать, – и шел своей дорогой.

Между тем подошла весна, та удивительная украинская весна, которая соединяет в себе все прелести и севера, и юга, подходит без нахрапа: не разворачивает пробуждение природы с базарной торопливостью, но все же каждый этап украшает щедро и богато. И вот, наконец, наступает ее великий праздник: сам воздух как будто меняет химический состав, он снова преисполнен первородным озоном и хочется его вдыхать медленными глотками, дегустируя, как дорогое вино. Крепко пахнет молодая листва, на золотых от лютиков лугах

широкие белые полосы ветреницы и пухлые сережки на вербе, и по вечерам в зеленеющих уже болотах гремят миллиардные лягушечьи капеллы, а в садах то и дело лопаются звонко, словно струны арфы, когда майские жуки, ударяясь о дерево или стену, внезапно прерывают гулкий свой полет, порой под аккомпанемент глухой виолончели самого гигантского из наших насекомых жука-оленя.

Но в этот год и весна не могла как следует пробиться в мир человеческий сквозь беспокойство и томительное ожидание безрадостной неизвестности. Газет не было, но знаменитая „пантофлева" почта все приближала и приближала к нашим пределам самые кошмарные слухи, которые, словно перекати-поле, носились по встревоженной области... Хоть крестьяне и продолжали говорить „нехай гирше, абы инше"... но им даже и не снилось, до чего то, что может быть – бывает хуже того, что есть.

Наконец, стало известно, что ближайший, в тридцати километрах, городок занят большевиками. Положение осложнялось еще тем, что почти на все тридцать километров тянулся казенный сосновый бор, настоящая корабельная роща, к которому примыкало предместье, где я жил. Каждый вечер в лес отправлялась конная разведка и вполне благополучно возвращалась обратно. Большевики, как видно, не торопились. В день какого-то специального, может быть, войскового праздника в Соборе происходило торжественное богослужение, после которого должен был состояться парад. Мой батюшка, уже отслуживший положенный ему молебен, псаломщик, веселый и острый на язык хохол, и я стояли в садике нашего дома и, разговаривая, глядели, как между деревьями сада на высокой горке золотыми куполами рядом с остатками замковых башен блистает собор – бывшая замковая церковь князей Острожских (в которой даже хранилась знаменитая Библия). Как только в соборе зазвонили колокола, что значило близкое начало обещанного на его площади войскового парада, – из-за леса сзади нас ухнул пушечный выстрел, за ним второй и третий. На соборной горке за парапетом ограды показались фигурки, и оттуда затрещал пулемет, который, кстати, почти сейчас же смолк, и фигурки как ветром сдуло. На нашей улице, продолжающей мосты, с бешеным грохотом проскакал к лесу взвод „козакив" – и через некоторое время пронеслись обратно почти одни лошади, причем одна на трех ногах. Под забором на другой стороне улицы вроде мирно отдыхающих обывателей присело трое украинских солдат. Очевидно, они решили сдаться в плен, но... На мостовой, по направлению из леса, показалась пешая группа неизвестных чинов и родов оружия, без шапок, без гимнастерок, без сапог, которую голыми шашками подгоняли по чем попадя всадники с дикими чубами и красными бантами, и почти каждый со скорострельным ружьем-пулеметом, висящим на шее. Заметив сидящих троих солдат, двое отделились от группы. Сидящие встали, отвечая на вопросы и

за спиной их упали упиравшиеся о забор винтовки. Несчастных, очевидно, приняв за засаду (из-за спрятанных за спиной винтовок), обратили в груду кровавого мяса и тряпок...

Как только выстрелы под лесом и в городе смолкли, калитка сада разлетелась от бешеного удара сапогом, и два бойца с чубами на высшем уровне, увешанные всякой мыслимой военной сбруей и ручными – на обеих руках – часами, ввалились в дом с требованием выдать оружие, которого, конечно, не было, с претензией к отцу, что с его колокольни по ним стреляли. Это была утлая чушь, но никакие резоны не действовали, и отца уже потащили к забору расстреливать, когда, вероятно, по молитвам умершей сестры, его любимицы, воинам попался под ноги стоявший у двери чемодан, оставленный одним из квартировавших во время войны (местность была прифронтовой) офицеров, уехавших так поспешно, что даже замок чемодана не был закрыт как следует. Из чемодана вывалилось целое богатство: кроме всякой мелочи, два френча, отличное галифе и даже целая штука сукна. Герои схватили добычу, потребовали для нее мешок и даже великодушно выдали нам расписку, что дом обыскан и ничего подозрительноьо не найдено. Подписи были совсем неразборчивы, но все же сослужили мне службу, потому что в эту ночь наш дом посетило 18 пар бойцов. Отправив отца спать (или, во всяком случае, отдыхать и не попадаться на глаза), я сам встречал всех гостей, говорил им, что они уже энные по счету, указывал на разгромленный чемодан и совал под нос пресловутую записку, над которой они откровенно смеялись, но, забрав какой-нибудь пустячок на память, вроде пудреницы с туалетного столика умершей сестры, удалялись. Их сравнительную скромность я понял только тогда, когда мне объяснили, что это был отряд специального назначения для прорывов в глубокий тыл неприятеля и ему особенно обижать местное население не полагалось.

Только к трем часам ночи гости перестали ломиться в нашу и без того поломанную калитку, и я, кое-как закрыв ее, как был, во всей „амуниции" свалился на свою постель и очнулся только на другой день к 12 часам и с удивлением увидел, что постель моя не на месте. Отец очень обрадовался моему пробуждению и рассказал, что утром снова приходили искатели оружия. Гости тщательно осмотрели весь дом, видели следы чужих поисков, но им показался подозрительным мой глубокий сон. Мою кровать, вместе со мной, оттащили к другой стене, конечно, ничего не нашли, а я не проснулся, и „гости" ушли, реквизировав кое-что по дороге.

XIV.

Первое мое знакомство с „освободительной армией пролетариата" не только уничтожило все мои иллюзии (если они у меня еще были), но до того измотало и утомило, что, едва наступила настоящая ночь, в которую и пугачевцы спят, я, как говорится, „во всей амуниции" плюхнулся на диван и очнулся только в двенадцать часов дня. Очнулся с той приятной негой отошедшей усталости, которая бывает только в молодости. Но прежде чем успел как следует прийти в себя, услышал грохот копыт по булыжной мостовой. Потом так же звучно проскакал всадник в другую сторону, и я сразу же пришел в себя: „Боже! Большевики в нашем городе!"

На солнечную штору окна сразу упала будто ночная тень, и под сердцем гадом свернулась глухая, безнадежная, неисцелимая тоска. Снова эти поиски оружия, в число которого попадают самые, казалось бы, мирные вещи: столовые и чайные ложки, обручальные кольца, браслеты, брошки и даже вышитые полотенца! Снова положение щепки в мельничном водовороте, которую могут и прибить „к стенке", или вдруг подарить ей только что снятые с теплого еще буржуя почему-то не подходящие „герою" часы.

Так или иначе, надо было узнать, что происходит в городе и что случилось с освобожденными от „буржуазного гнета" товарищами. Но после вчерашнего я не хотел оставлять отца одного. По счастью, батюшку позвали к жившему неподалеку рыбаку. Он давно и прочно страдал болезнью, в которой доктора, по пути наименьшего сопротивления, видели на три четверти болезнь нервов и на одну четверть — колит. Но старик применял собственную диету и потому постоянно болел и звал батюшку, чтобы исповедоваться и причаститься перед смертью, и пока что, по той или иной причине, всегда выздоравливал. Накануне внучата наловили ему раков — он их без остатка съел и вот спешно звал батюшку. Не исключена возможность, что ему хотелось потрепаться о событиях, для чего мой отец, человек, в общем, веселый и общительный, весьма подходил.

Так что, проводив отца к рыбаку и попросив его сына задержать батюшку, пока я не вернусь, я направился было в город, но дорогой вспомнил, что забыл документы и снова зашел домой.

Едва я успел закрыть за собой дверь, как в нее настойчиво постучали. С глухим отчаянием я вернулся и открыл. Отягченный всяким

мыслимым и даже немыслимым оружием и всевозможными ручными и карманными часами, красноармеец, прислонясь к косяку, шпорой долбил полированный дуб. Когда дверь открылась, он, держа карабин наперевес, долго осматривал меня, а потом даже как будто дружелюбно сказал:

„Документы!”

Уже справляясь с собой, я неторопливо повернулся, чтобы пойти в свою комнату и взять нужные бумаги.

„Ты куды, сволочь?” – вдруг заревел красноармеец, щелкая затвором.

„Взять документы...”

„А на хрен их себе нацепи, свои документы! – опять без всякой злости отозвался красноармеец и разъяснил: – Это я так, для порядку... Малограмотный я... Родители, соленым огурцом им в гроб, за всякое дерьмо шкуру с меня спускали, а насчет грамоты не заинтересовались... Ну, пойдем!” – и он направился внутрь дома.

„Это кто?” – спросил он, ткнув пальцем в портрет в штатском императора Александра III, любимого государя моего отца.

Снять парадные портреты Николая II и Александры Федоровны (в красках – приложение к „Ниве”) я все же отца уговорил, но изображение своего любимца („когда русский Царь рыбу удит, Европа может подождать!”) отец снять наотрез отказался, тем более, что это была не олеография, а фотография и мало кому известная: Царь был снят в штатском костюме, кажется, в Париже. В общем, человек как человек. Мог быть и родственник.

По этой линии я и пошел и на вопрос красного героя, решив, что теперь не время корове рассказывать о дифференциальном исчислении, кратко ответил:

„Мой дед...”

„Помещик?”

„Чиновник”.

„Ну ладно”, – лениво согласился красноармеец, продолжая осмотр дома.

В комнате покойной сестры взял гребешок и долго взвивал свой исполинский чуб. Потом испробовал щетку, но вышло, по-видимому, хуже, поэтому щетку он положил обратно, а гребешок спрятал в карман. Затем потребовал опрыскать его одеколоном и сиял, как именинник, пока ландышевый дух окатывал его со всех сторон. Потом, в рассуждении, чего бы еще прибавить к своему великолепию, открыл щипцы для завивки.

„А это что?”

„Щипцы для завивки волос”.

„А ну, завей!” – И придвинув кресло к большому столу, он снял фуражку и подставил обработке свой заветный чуб.

В моих неопытных руках раскаленные щипцы обращались в бик-

фордов шнур, способный в любой момент взорвать этот разнокалиберный красноармейский арсенал. И сам не зная, откуда берется прыть, я, с красноречием Корабчевского, стал докладывать героическому бойцу, что для мужественного чуба воина нужна твердая рука опытного профессионала и что таковые в настоящем маленьком городке имеются и принимают граждан с утра до вечера, и что именно в профессиональной парикмахерской уважаемый обладатель уважаемого чуба получит полное удовлетворение своим эстетическим потребностям, тогда как я по неопытности легко могу сжечь его волосы и обжечь ему кожу.

Красноармеец долго молчал, вертел щипцами и щелкал ими. Наконец, спросил, где именно искать парикмахера, деликатно – двумя пальцами – вернул щипцы, нацепил фуражку совсем на ухо и пошел к выходу, прихватив по дороге с вешалки зимнюю рясу моего отца: „Бурка будет на большой палец!" За справками о портном я направил его к тому же парикмахеру и, закрыв за ним дверь, через черный ход вышел в город и с удивлением увидел, что главная – Дубенская – улица почти пуста. То есть все магазины были открыты, но, как говорится, „не много шили у мадам, и не в шитье была там сила". Многие были совершенно пусты, из других выходили порой бесплатные „покупатели".

На тротуаре возле бывшего гражданского клуба бегал какой-то кривоногий кавказский человек. На нем были офицерские чикчиры, отличный френч явно с чужого плеча и кожаная сумка с биноклем. На непокрытой голове черные курчавые волосы стояли копром, как у кафра. Человек, надрываясь, кричал: „Сволочи! Бандиты! Всех под суд революционного трибунала!"

И при каждом слове, увертываясь, прыгал то вправо, то влево, а на него из окон сыпались тарелки, пепельницы, бокалы, станки для карт – вперемежку с виртуознейшим, гомерическим матом.

„Наш комиссар полка, – любезно улыбнулся мне, объясняя, тоже наблюдавший эту сцену красноармеец, – жалится, что бойцы Бродовский мост взять не могут... А поди-ка, возьми: нас два полка кавалерии, а там и бронепоезд, и пулеметами зас...сеяно. Но вот поди ж ты: пусти кто слух, што под мостом мильен закопан, в два счета взяли бы!"

На углу на перекрестке на поджарой, явно степной лошадке, на которой вместо потничка нежно голубело божественное шелковое стеганое одеяло, в седле – еще в обычной кавалерийской форме – сидел веселый монгол. Потешая бесстрашных от любопытства мальчишек, он лениво хлопал шутливой нагайкой попеременно вскидывавшую то задние, то передние ноги лошадь и приговаривал: „Самогонка пьешь, ездить не хочешь!" И вдруг весь подобрался и, вместе с взвившимся всеми четырьмя копытами на воздух конем, мгновенно исчез в перспективе переулка и только откуда-то с поворо-

та, вместе с затихающим громом булыжной мостовой, донеслось раскатистое: „Тво-о-ю ма-а-а-...”

„А это нашего эскадрона киргиз Хурдыбаев, – как вежливый гид любопытному путешественнику, доложил мне тот же воин. – Геройский боец и на лошади первый парень, только малосознательный: жадный до трофеев, не разбирается, где буржуй, а где свой брат... и опять же девушек почем зря портит...”

В особняке присяжного поверенного Гольдберга поместилась комендатура. Преуспевающий Лев Исаакович хотел необычностью своего дома подчеркнуть свою победу над жизнью и выстроил его в стиле „рококо” („ма-ка-ка”, – как называли этот слепленный из кирпича и большого количества извести сладкий пирог иронические гимназисты-старшеклассники). Особняк получился настолько своеобразным, что даже привыкнувшие к нему аборигены, проходя мимо, как будто их ткнули под ложечку, внутренне охали. Однако на этот раз шедевр уездной архитектуры казался чем-то посеревшим, вылинявшим. Словно знаменитая „макака” тоже испугалась, нахохлилась и поджала хвост.

У широко раскрытой двери дома появился сам хозяин и с кем-то, по-видимому, представителем комсостава бригады, завел оживленный разговор, вернее, спор. Обычно экспансивный Лев Исаакович сейчас совершенно выходил из себя и жестикулировал так, что казалось, будто руки его нечаянно оторвались от корпуса и в панике носятся вокруг, тщетно пытаясь уловить момент, когда можно будет приклеиться обратно.

„Помилуйте, – трагическим полушепотом свистел Лев Исаакович, прижимая обе руки к груди. – Помилуйте!” – и руки разлетались в стороны. – „Солдаты...” – правая рука загибала один палец на левой – „...революционной...” – загибался второй палец – „...армии...” – третий палец прижимался к ладони – „...запирают мою прислугу в ванную комнату и...” – сжатые в кулаки обе руки мотались в воздухе, вколачивая, как гвоздь, каждый слог – „...до ут-ра на-си-лу-ют ее!”

Военный возражал скучным голосом, ссылался на военную обстановку, на то, что часть – фактически – находится в тылах противника, отчего дисциплина расшаталась, а бойцы нервничают. Упомянул о том, что такие случаи бывали в самых что ни на есть регулярных армиях, например, в царской во время галицийской кампании. Истощившийся Лев Исаакович в последний раз заявил: „Товарищ адъютант! Прошу вас довести до сведения командира мое глубокое гражданское возмущение и категорический протест!” – И скрылся где-то в глубине дома.

На Тюремной площади, пожирая нары из камер заключенных, пылал огромный костер. На нем, надетый не то на пику, не то просто на кол, жарился здоровенный кабан, и вокруг него, под лихой над-

рыв захлебывавшихся гармошек, лязгая оружием и шпорами, помавая исполинскими чубами, парами танцевали жеманную польку пьяные бойцы.

„Шалит братва, отдыхает", – сказал красноармеец с умиленным сочувствием. Он остался с братвой, а я пошел дальше. Добрался я до домика моего лучшего друга, не вызвавшего революционных вожделений, и узнал, что с „нашими", в общем, обошлось. Кто затаился дома, кто спрятался в менее „людном" месте: один просидел два дня и две ночи на заброшенном еврейском кладбище. Вообще убитых – если не считать взятых с оружием в руках – было сравнительно мало. Мучительно погиб один из наших однокашников, живший на окраине. Ни к белым, ни к зеленым, ни к красным решительно непричастный. Когда большевики ворвались в город, он у себя во дворе под развесистым деревом неизвестного происхождения предобеденно прохлаждался: не то пил чай, не то читал книгу, конечно, без погон и прочих знаков различия, но в офицерском хаки, которое, что называется, „донашивал". По неизвестной причине (вероятно, добрососедскому доносу) его голыми шашками гоняли по двору, пока он не свалился замертво. Мать смотрела на все из окна, и ее пустили только к трупу.

Но в общем, революционные герои главным образом интересовались „изъятием ценностей". Правда, они тоже очень настойчиво искали вербовщика Деникина, но у него, вероятно, была своя агентура, потому что след его, как след Тарасов у Гоголя, отыскался уже только в „цветных" частях.

Рассказывали (но, возможно, что это было творчество „ворожих до уряду"), что, когда городской голова (щирый украинец), беспокоясь за участь сограждан, вышел навстречу ворвавшемуся в город первому взводу, как полагается, с хлебом-солью, подскакавший навстречу всадник отстранил и то, и другое саблей и торопливо спросил: „Где казначейство?" Слегка дрожащей рукой городской голова указал направление, и моментально весь взвод, как медный всадник, поднял коней на дыбы и ринулся в указанную сторону.

Весь этот неожиданный вулканический налет объясняется, помимо всего прочего, и полной никчемностью наших „щирых". Оба полка, оказывается, уже с утра были почти у города в лесу и ждали только момента, когда петлюровцы начнут парад. В город из леса через болотистые луга вели – с мостами – три плотины. В начале и в конце каждой петлюровцы поставили пулеметные заставы. Но, рассказывали, что первый пулеметчик проснулся только от очень чувствительного удара сапогом в бок: „Эй, товарищ! Вставай! Стрелять пора!" Заставы на самых подступах к городу пытались что-то сделать, но было уже поздно: по плотине неслась лава всадников. И каких всадников! Одному прострелили руку, так он взял поводья в зубы и успел зарубить пулеметчика...

Возвращаясь домой из-за отца и объявленного „осадного положения”, я почти бежал по своей плотине.

На одном из мостов рядом застучали конские копыта. И довольно насмешливый голос меня окликнул: „А куда ты так нажимаешь? Краля, что ли, ждет?”

Начинается!.. подумал я и пожалел, что надел в город новые сапоги, но улыбающееся лицо моего спутника было абсолютно доброжелательно.

„Нет, краля не ждет, но вы знаете, какое сейчас время”.

„Ну, времени еще хватает, — сказал он, важно посмотрев на свои бесчисленные часы, — а ты вот лучше со мной закури!” — И он вытащил из кармана своих нечеловеческих галифе сигарную коробку, туго набитую папиросами. Я прикурил от зажатой в коробочку ладоней спички и, затянувшись, искренне восхитился: „Отличный табак! Откуда такой?”

„А из Староконстантинова! Богатейшие жиды! Три дня весь город мы, как мешок, трусили, и, поверишь ли, еще осталось! Вот ето был цыганский праздник! Зайдешь в лавку, а там всякая посуда буржуйская и вправо, и влево, аж до потолка! Двинешь шашкой в одну сторону — дзинь! Двинешь в другую — брынь! Весело! Понимаешь — весело!”

Потом завязался совершенно мирный разговор о войне вообще, Великой, в частности, и революции — в особенности... Когда мы прощались, мой спутник, разбирая поводья, как-то тепло сказал:

„А ты, браток, нас не боись. Все русские люди. Есть, конечно, которые шалят, но понимаешь, четыре года: „так точно, Вашбродь! никак нет, Вашбродь”! Да еще по зубам порой за здорово живешь... А тут воля, свобода... которая братва шалит... А ты все-таки ее не боись! А вот те, что за нами придут — у них злоба чужая. С ними держи ухо востро! Они никому не прощают...”

„А что?” — спросил я, стараясь себе представить, что нас ожидает. Но боец распространяться не пожелал: „Когда молодому постель стелют, поздно ему говорить, что невеста б...”, — и, махнув на прощанье рукой, галопом ушел к лесу. Во вторую ночь, каюсь, я уже не спал сном праведника — все чудились звонкие копыта по булыжной мостовой или скрип нашей полуразбитой калитки. Когда совсем рассвело и не стало мочи метаться с боку на бок в постели, я поднял штору, раскрыл окно в упоительную утреннюю свежесть и удивился, что сосед наш, сапожник Парфентий Степанович, по старинной привычке метет перед своей усадьбой тротуар и улицу.

Оглянувшись на стук оконной рамы, он приветливо помахал рукой: „Чего же это вы так рано? Идите, досыпайте! Они уже ушли”.

„Как ушли?!”

„Да так... Собрались ночью и ушли... Похоже, петлюровцы их окружать стали...”

„Так у нас, значит, сейчас петлюровцы!"

„Никого нет... Сами по себе и живем... Похоже, что так-то лучше..."

И вдруг добавил, испортив весь гордый анархизм последней фразы: „Вроде как при Николае..."